

25



84-3
M62

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ФРАНСИС ДЕ МИОМАНДР
FRANCIS DE MIOMANDRE

ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ

241
ПЕРЕВОД АДЫ ОНОШКОВИЧ-ЯЦИНА
РЕДАКЦИЯ М. ЛОЗИНСКОГО



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА—МСМХХIV—ЛЕНИНГРАД



Настоящее издание напечатано
в типографии Первой Ленинград-
ской Трудовой Артели Печати
(Моховая, 40). Ленинградский
гублит № 4518—3.150 экз.
Гиз. № 5664.

Элемиру Буржу

ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ

LE VEAU D'OR ET LA VACHE ENRAGÉE

РОМАН

1917

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I,

В КОТОРОЙ РЕЧЬ ИДЕТ ОБ УЧИТЕЛЕ МУЗЫКИ О ТРИ-
УМФАЛЬНОЙ АРКЕ И О НЕРВНОМ ПРИПАДКЕ.

Урок музыки Алексиса де Торвиля был окончен, и учитель начал приготовления к уходу: а именно, скрипку и смычок он уложил в черный ящик, похожий на детский гробик, платок, защищающий подбородок, спрятал в карман брюк, а кусочек канифоли — в жилетный карман. Но, против своего обыкновения, он действовал с величайшей медлительностью, словно был изнурен усталостью, и это удивило мальчика.

— Что с вами, г. Фюмад, — спросил он его невольно, — что с вами сегодня? Может быть... о, боже мой, уж не больны ли вы?..

Г. Фюмад поднял голову, которую склонял над ящиком, как будто желая скрыть свои чувства. Это был старик, очень бледный, бледный до зелени, с белыми усами. Его длинное, худое тело было заключено в своего рода лоснящийся синий футляр, который он

сам и лица, желавшие быть ему приятными, вежливо называли жакетом. Ни у шеи, ни возле кистей рук не было заметно белья. Во всем его облике была разлита горестная чистоплотность, свойственная тем, кому из всех привычных им предметов комфорта удалось сохранить только щетку... Итак, он поднял голову, и даже раньше, чем он заговорил, маленький Алексис мог прочесть на его лице признаки глубокого отчаяния.

— Нет!—ответил, наконец, учитель,—я не болен... Благодаря богу и воздержному образу жизни, у меня, собственно говоря, нет никакой болезни... Но, видите ли, я привык к вам и не скрываю, что мне тяжело вас покидать.

— О,—воскликнул Алексис, внезапно омрачившись,—вы меня покидаете? Вы больше не будете приходить на урок по вторникам и пятницам?

— Увы, нет. Не сердитесь на меня за это... Но я только что имел свидание с вашим отцом, и мы пришли к соглашению, что, в виду незначительности ваших наклонностей к музыке, лучше всего приостановить... прекратить... мое преподавание.

— ...
— Я отлично знаю,—прибавил он, как бы обращаясь к самому себе,—я отлично знаю, что не в моих силах было бы довести вас до вершин искусства Паганини. По правде говоря (это совершенно между нами), я сам выучился играть на скрипке, чтобы успешнее продавать инструменты, которые случай заносит ко мне в магазин... Тем не менее, я уверен, что все-таки помог бы вам, со временем, обогнуть мыс «Утеса в Сен-Мало», о который вы разбиваетесь уже столько недель. Все в жизни—только вопрос настойчивости. Но ваш отец дал мне понять, что его сред-

ства не позволяют ему останавливаться дольше двух месяцев на четвертой гамме. И я преклонился.

Он говорил возможно более изысканно, как будто для того, чтоб изящество выбираемых им выражений скрыло от его юного ученика и от него самого голую и душераздирающую истину, что г. де Торвиль ему отказал. Правда, по всем правилам приличия, но факт оставался фактом: надо было уходить, надо было отправляться на площадь д'Э в антикварную лавочку под триумфальной аркой и не возвращаться больше в эту гостиную, довольно пустую, довольно нелепую, но где было так хорошо отдыхать два раза в неделю вдали от забот, вдали от сквозняков (под триумфальной аркой так неуютно, когда вместо того, чтобы просто пройти под ней, приходится под ней жить!), отказаться от скромного, но желанного вознаграждения. Это было крушением.

Надо отдать справедливость г. Мариусу Фюмаду,—он ни на кого не сердился. Долгая привычка к несчастиям внушила ему правильный взгляд на жизнь, и он знал, что коварство людей ничто—рядом с еще более непонятным коварством событий. Здесь была глубокая тайна, перед которой он склонялся, не споря. К тому же, в данном случае, он сознавал, что могущественные финансовые причины заставили г. де Торвиля, обычно столь щедрого, расстаться с ним и что таким образом г. де Торвиль был тоже жертвой рока. Вот почему из глубины своего отчаяния он послал ему благодарную мысль.

— Я никогда не забуду,—сказал он Алексису,—что ваш отец сделал для меня: чтоб оказать мне услугу, он предпочел мои уроки урокам какого-нибудь выдающегося преподавателя, лауреата консерватории (их достаточно в Марселе). Мой юный ученик, раз-

решите преподнести вам... эту коробочку канифоли на память обо мне. А теперь, прощайте,—закончил он,—я возвращаюсь к моим пенатам.

И он вышел.

Оставшись один, мальчик расплакался. Ридания, которые он—тоже из гордости—сдерживал в груди, вырвались наружу; он испытывал непосильное горе, горе мужчины, вызванное главным образом раскаянием в том, что он не нашел ни одного слова для старика, такого печального, тогда как на самом деле он мог так много ему сказать и так страдал вместе с ним!.. А теперь бедный г. Фюмад шел пешком сквозь свирепую дующий мистраль к своему жилищу, если так можно назвать жалкую лавчонку, перед которой он проводил свои дни. Так как, действительно, учитель музыки—после каких социальных испытаний?—открыл торговлю старым хламом под сводом триумфальной арки на площади д'Э. Однажды, купив на публичной распродаже какой-то прогоревшей частной школы целую партию скрипок, он подумал, что легче сбудет их, если станет одновременно обучать своих клиентов способу обращения с ними. Он создал себе таким образом особую репутацию, слух о которой дошел до ушей г. де Торвиля, и однажды, когда счастье ему улыбнулось, г. де Торвиль использовал обе оказии: инструмент и артиста.

Бедный г. Фюмад! Проживи Алексис еще восемьдесят лет, ему бы все равно не забыть этого плачевного ухода. Он открыл окно и с балкона, стоя на ветру, который понемногу сушил слезы на его щеках, смотрел, смотрел на старика, зажатого в синий футляр, похожего в отдалении на ящик для скрипки, более фантастичный, чем тот, который он тащил в руке, на длинного и сгорбленного старика, шагающего

в толпе. Он вернулся в комнату много спустя, когда давно уже потерял его из виду, и сердце его было полно сожаления, что он не учился лучше, потому что тогда,—не правда ли?—г. Фюмада все-таки не уволили бы, пошли бы на жертвы.

— Чем он будет жить теперь?—спрашивал он себя, так как, в наивном незнании ценности денег, он думал, что сорок су за два урока в неделю могут обеспечить существование человеку. Он машинально огляделся. Комната, в которой он находился и которую во имя странной фантазии называли гостиной, была совершенно пуста, если не считать двух кресел и нескольких стульев; но вдоль стен, оклеенных синими обоями, развешивался целый фриз фальшивых каминов, образчики поддельного мрамора, изобретателем которого был отчасти г. де Торвиль,—последние следы предприятия, которое знало свой час расцвета. Так, имелся камин из порфира, камин из белого мрамора с зелеными слоями, камин из крапчатого итальянского мрамора, камин ни более, ни менее, как из паросского мрамора и дальше—из черного мрамора с золотыми жилками, из синего мрамора, из лангедокского мрамора, из испанского брокателя, из бейредского мрамора, из гранитовидного мрамора, из лилового крапчатого мрамора, наконец из сицилийской яшмы. Из зияющих отверстий этих призрачных каминов, которые, конечно, невозможно было топить, несло холодом еще более жестоким, чем зимняя стужа, каким-то сверхъестественным холодом, который леденил не только тело, но и душу. Алексис удрученным видом созерцал эти каминные, особенно один, порфиновый, на котором еще лежала его маленькая скрипка; а перед очагом нечто в роде креста из белой пыли, образовавшегося на красном веществе плит,

было следом ног г. Фюмада, который отстукивал такт, вертясь на каблуке и отбивая ступней: «Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре!»

И вид этого креста настолько увеличил горе мальчика, что, схватив скрипку и смычок, он закричал, охваченный мистическим бредом: «Похоронный марш г. Фюмада» и начал импровизировать что-то бесформенное и ужасающее, где сливались жалобы собаки с мотивом «При лунном свете» и где волна *Dies irae* разбивалась о вечный «Утес в Сен-Мало», камень преткновения для музыкальной юности, и все это до того дерущее, резкое, пронзительное, что в своей маленькой будке, на другом конце квартиры, морская свинка (по имени генерал Дуракин), хотя и привыкшая к самым мучительным фальшивым нотам, начала дрожать от страха и испускать громкие крики. Так что г. Симон де Торвиль, несмотря на серьезные дела, которые удерживали его в рабочем кабинете, вышел узнать, в чем дело.

Это был человек высокого роста, немного сутулый от непрерывной работы и от бремени забот, связанных с тысячами предприятий, которые роились у него в голове. Его длинные рыжие усы, спускающиеся вниз, его безгранично простодушные голубые глаза, его яркий цвет лица, посадка плеч и сила рук, все в нем свидетельствовало о самой чистой, самой нетронутой галльской породе. Несмотря на то, что он носил, несколько, впрочем, не помышляя об элегантности, безличный и невыразительный костюм нашей эпохи, глядя на него, казалось, что имеешь дело с современником Верцингеторикса.

Войдя в гостиную с двенадцатью каминами, он нашел там мальчика, скорченного в нервном припадке. Он поднял его, как умел, и, предполагая какое-нибудь

нелепое детское отчаяние, попытался его утешить. Но тотчас же убедился, что Алексис просто напроосто в обмороке. Тогда он взял его на руки и нежно, с осторожностью доброго великана, отнес его в «комнаты мадам», как он называл их, т. е. в комнату на другом конце коридора, которая служила одновременно часовней и спальней мадам де Торвиль, где это печальное и белое создание проводило нескончаемые дни, вытянувшись на шез-лонге, годами ожидая от жизни бог весть чего.

— Вот,—сказал он, опуская ребенка на диван,— вот ваш сын, которого я нашел на голом полу, в гостиной. Займитесь им, у меня нет ни одной минуты. Я должен вернуться к прижимистому господину, которого вы знаете; мы как раз на таком месте спора, что мне нельзя его упускать. Пришлите мне Катерину, как только у вас будут новости.

И в то время как его жена, в ужасе, бросилась к Алексису с флаконом соли в руке, г. де Торвиль, хмурая брови, возвращался в свой рабочий кабинет, чтобы там встретиться с таинственной личностью, которую он называл «прижимистым господином, которого вы знаете».

ГЛАВА II,

В КОТОРОЙ УЖАСНЫЙ Г. СЕРБЕК ВЫСТУПАЕТ НА СЦЕНУ.

— Вы меня извините, не правда ли, мой дорогой г. Сербек?—сказал он, закрывая дверь.—У моего сына было что-то в роде припадка, и я задержался возле него несколько минут.

Тогда г. Сербек встал со стула, который он занимал перед письменным столом г. де Торвиля, точнее, вытянулся, как змея, разворачивающая кольца. Это было странное существо, гибкость которого внушала беспокойство и наводило на вопрос, были ли у него когда-нибудь кости, кроме костей пальцев, которыми он щелкал самым раздражающим образом во время разговора. Из его круглого и плоского лица, мягкого, как и все остальное, вырывался струей резкий и пронзительный голос, который, казалось, разрезался надвое кончиком узкого носа, спускающегося очень низко, к самому рту, и тоже жесткого, как кость.

— Боже мой!—воскликнул он, стараясь придать своему неподвижному лицу и застывшим глазам оттенок взволнованного интереса,—какой ужасный случай! Но я надеюсь, что это пустяки, и ваш сын быстро оправится от этого легкого недомогания, частого у столь молодых существ, когда они чувствительны. Вероятно, мадам де-Торвиль у его изголовья. В этих случаях женщины обладают неведомыми нам средствами, которые внушаются им утонченностью натуры, которая...

Он мог бы продолжать в этом духе еще очень долго, если б его собеседник, боясь забыть, на чем оборвался их разговор, не положил конца его трогательной речи.

— Благодарю вас за участие, которое вы принимаете в постигшей меня неприятности,—сказал он,—но дела—делами, и я спешу закончить наше... Пожалуйста, изложите мне в нескольких словах, по возможности кратких, ваши требования.

— Они очень скромны,—ответил г. Сербек, съезжаясь на стуле,—и я удивлен, что такой рассудительный человек, как вы, не понимаете, с какой благоже-

лательностью я сообразуюсь с положением вещей. Во сколько оценили вы сами залежи фосфата, которые вы купили у меня двадцатого февраля прошлого года?

— В четыреста тысяч франков,—заявил г. де Торвиль, без колебаний.

— А за сколько я согласился вам их продать?

— За триста тысяч, конечно. Я этого нисколько и не оспариваю.

— Триста тысяч! Мне приятно, что вы это повторяете. Триста тысяч, т. е. на сто тысяч дешевле действительной стоимости. Таким образом, даже до начала какой бы то ни было эксплуатации, вы на моих залежах фосфата выгадали внушительную сумму в сто тысяч франков.

— Разрешите...

— Разрешите мне! Сто тысяч франков! Это хорошая сумма в наши времена. Уверяю вас, что не каждый день можно найти сто тысяч франков, не развязывая кошелек, не делая усилий, а просто ставя свою подпись на листе бумаги, и я знаю немало людей, которые трудами целой жизни не могли заработать даже половины суммы, которую вы, благодаря моей любезности, в некотором роде, реализовали здесь, в пять минут, не вставая со стула...

— «В некотором роде»—прелестно...

— Но дальше,—продолжал г. Сербек, непоколебимый в своем многословии.—И подойдем ближе к делу. Из этих трехсот тысяч франков, более чем минимальной цены моих залежей, сколько вы мне уплатили?

— Вы получили на месте сто учредительских паев по тысяче франков каждый, что составляет ровно сто тысяч франков, с кругленьким барышом в двадцать пять тысяч франков, имея в виду мое твердое намерение поднять эти акции на четверть выпускной

цены в тот уже весьма близкий день, когда дело будет пущено в ход.

— Весьма близкий! — отчеканил г. Сербек, с желанием съязвить, которое не ускользнуло от проницательности его собеседника и даже чуточку его покорило.

— Извините! — воскликнул он. — Одно из двух: или вы мне продали залежи настоящего фосфата, и тогда вы не имеете права сомневаться в их огромной ценности; или, наоборот, вы в этом сомневаетесь, и тогда... и тогда, — рявкнул он ужасным голосом, — это равно признанию, что вы подсунили мне кучу булыжников... кучу булыжников... потрудитесь найти выход.

— О том и речи нет, чтоб обесценивать наши залежи, — возразил тот, не смущаясь громоносным возражением и даже приняв свой самый сладкий вид; — я стал исключительно на точку зрения наличных сумм, я говорю именно наличных сумм, которые я получил до сих пор.

— Объяснитесь, — сказал Симон де Торвиль, скрестив руки.

— Я как нельзя более удовлетворен барышом в двадцать пять тысяч франков, на который я не рассчитывал, и тем значением, которое я буду иметь в правлении. Но мне оставалось дополнить двести тысяч франков наличными. Сколько перешло в мою кассу из этой суммы?

— Ах, г. Сербек, избавьте меня, я вас умоляю, избавьте меня от самых тяжелых воспоминаний, которые сохранились у меня о наших отношениях... Если бы я смел воспользоваться обычным, но немного грубым выражением, я бы сказал... ах, нет, не заставляйте меня говорить...

— Вы бы сказали что?...

— С ножом к горлу!.. Да, другого выражения нет, — вздохнул покупатель фосфата, глядя в потолок, как будто он там искал снисходительного свидетеля своим несчастьям. — За тридцать тысяч франков, которые вы внесли на мой счет, я уступил вам почти все наличие оставшихся у меня бумаг «Акционерного общества французского искусственного мрамора»; другими словами, в тот день, когда это дело вступит на путь осуществления, я, изобретатель способа изготовления, могу глядеть скрестив руки, как вы будете загребать восемьдесят или сто тысяч франков, которые вам принесет эта остроумная комбинация... За тридцать тысяч франков!.. Должен ли я напоминать об этой сделке?

— Но будьте добры, г. де Торвиль, указать, что я получил наличными?

В это мгновение в дверь постучали. То была Катерина Бюсси, толстая служанка, пришедшая сообщить своему хозяину о здоровье чувствительного Алексиса. Она вошла с той свободой, которая свойственна только женщинам страны, где родился и жил нежный Бернардино Луини. Не ожидая расспросов, она стала в дверях и заговорила:

— Барин, — сказала она, запыхавшаяся и возмущенная, — это я пришла по поручению мадам, потому г. Алексис выздоровел и сказал, что упал в обморок от испуга, что г. Фюмад уходит.

— Хорошо, — ответил г. де Торвиль, отпуская ломбардку; потом, повернувшись к г. Сербеку, он закричал мстительно:

— Вы слышали эту простую женщину, да, господин с залежами фосфата? Мой сын упал в обморок от отчаяния при мысли, что его учитель музыки остается без места. И вы, вы этому причина.

— Я? причина...

— Разумеется. Все находится в связи, милостивый государь, в обществе, как и в природе. Я отложил маленькую сумму, которую я рассчитывал спасти от жадной бездны афер, чтобы дать образованию моего сына тот блеск, без которого, впоследствии, он не будет джентльменом. Я думал сделать из него любителя и, в то же время, спасти жизнь несчастному скрипачу. Пятисот франков хватило бы. Но пришлось отдать их вам, сударь, «наличными», как вы говорите на вашем ужасном языке. Кем же мне пришлось пожертвовать? Бедным учителем, который теперь дрожит от холода и ветра под своей триумфальной аркой.

— Под своей аркой?.. Я не понимаю.

— Этого и не требуется. Вы не из тех, которые облегчают молчаливую нужду, вы не из тех, кому знакома жалость... Вам нужны «наличные»... Вы их получили...

Г. Сербек расхохотался тихим, продолжительным, бесконечно мрачным хохотом и щелкнул двадцатью восемью суставами обеих рук. Это был его способ смущать противника. Но Симон де Торвиль был, очевидно, притупленным человеком, так как он только пожал плечами и стал очень хладнокровно слушать кисло-сладкую речь, которая последовала за этим необычайным вступлением.

— Я не отказываюсь жалеть этого бедного артиста и это невинное дитя. Но я, сударь, я, продавец залежей, что получил я?

— Вы получили сто тридцать тысяч пятьсот франков,—объяснил покупатель с полным спокойствием.

— Я получил ровно пятьсот франков,—возразил г. Сербек, острый и холодный, как ледяная гора.

Настала очередь смеяться г. де Торвилю. Что он

и сделал с щедростью. Вся его фигура галльского вождя выросла над рабочим столом; он господствовал над извилистым г. Сербек, как орел, парящий над змеей. Его голубые глаза светились уверенностью.

— Я думаю,—сказал он,—нам бесполезно спорить дальше. Наши мнения никогда не сойдутся, мы исходим из слишком разных точек зрения. У вас на губах одно слово: «наличные». Как будто можно делать дела «наличными»!.. Скажите мне, что стало бы с Поземельным Кредитом, с Главным Обществом, с самим Французским Банком, если б им пришлось просто так, ни за что, ни про что, платить наличными? Это было бы просто крахом, немедленным разорением. Все основано на оборотах, г. Сербек, на равноценностях. Все зиждется на кредите. Впрочем, мне кажется, что, например, который у нас перед глазами, достаточно яростно: стали ли вы богаче с пятьюстами франками «наличных» (о, ужасное слово!). Нет, не правда ли? Вы, приблизительно, в таком же положении, как если бы никогда их не видали, а вы воспрепятствовали бедному антикварию купить магазин, которым он, вероятно, мечтал заменить свою бедную лавчонку. Ах, кто сосчитает число жертв «наличных»!

Г. Сербек, вместо того, чтобы возмутиться или запротестовать, как этого, повидимому, ожидал Симон (несмотря на уверенность в своей правоте), г. Сербек, напротив, казалось, с сокрушением сердца обдумывал представленные ему доводы.

— Таким образом,—сказал он, наконец, после долгого молчания,—если бы вам предложили выбор между уплатой пятисот франков сейчас и четырех тысяч позднее, гораздо позднее, вы бы не колебались...

— Ни одной секунды, это ясно, как день.

— Отлично, дорогой г. де Торвиль, я не скрываю

от вас, что предпочел бы маленький зачет в пятьсот франков сегодня же, но я вижу, что мне приходится наталкиваться у вас на предвзятое решение, тем более неколебимое, что оно является результатом финансового принципа, не так ли?

— Очень твердого финансового принципа, будьте уверены.

— Раз это так, я удовольствуюсь вторым решением... Вот несколько маленьких векселей.

Он вынул из внутреннего кармана своего сюртука туго набитый бумажник, откуда начал доставать указанные бумаги. Они были совсем готовы, но Симон де Торвиль слишком привык ничему не удивляться. Он и бровью не повел.

Одним взглядом, одновременно рассеянным и опытным, ознакомился он с векселями. Они были в полном порядке. Одну минуту он даже замечтался.

«Какое чудесное изобретение вексель! — думал он. — Надо бы воздвигнуть статую гениальному человеку, которому оно пришло в голову. Так я, у которого в кассе нет сегодня даже пяти луи, я могу одним росчерком быстрого пера спасти жизнь этому старому безумцу и найти для его скорняка, его обойщика и некоего г. Маккаки, которого я не знаю, семьсот, девятьсот и две тысячи четыреста франков наличными, и притом на четыре месяца раньше, чем они могли бы серьезно рассчитывать. При единственном условии, чтобы я сам к тому времени нашел соответствующую сумму. Но я буду последним дураком, если при всех возможностях, которые ежедневно проходят через мои руки, я двадцать раз не добуду эти несколько синих бумажек».

Он подписал, со слепым мужеством. Г. Сербек взял драгоценные бумаги и снова спрятал их в бу-

мажник. Потом, так как это был исключительно корректный и щепетильный человек, он в свою очередь расписался в получении четырех тысяч франков в счет уплаты за залежи фосфата.

— Таким образом,— заметил тогда Симон, после быстрого вычисления в уме,— я должен вам только двести шестьдесят пять тысяч пятьсот франков.

— Совершенно верно. И, раз уж мы заговорили об этих делах, не хотите ли, чтобы совсем покончить с ними, принять еще несколько решений?.. Одним словом, если б мы определили сроки платежа...

— О, нет,— воскликнул г. де Торвиль,— здесь я буду непоколебим. Мое доброе отношение к вам — совершенно ясно, и вам стоит только обратиться ко мне в случае надобности. В условленный срок залежи будут оплачены, хотя бы мне пришлось рассчитывать в последний день. Но на большее я не могу итти. Уверяю вас, я на этом потерял бы...

— Тогда,— снова заговорил г. Сербек, который, как видно, неохотно упустил след,— не могли ли бы вы по крайней мере уплатить мне вперед сорок или пятьдесят франков? Предпочтительно пятьдесят. Вы знаете, что я очень беден: надо платить булочнику, мяснику, молочнику, сами знаете, хозяину...

— Двадцать франков, это все, что я могу в данный момент.

— Давайте, все равно,— сказал тот, без всякого достоинства.

Потом, взяв их, он заизвивался во все стороны и вышел ползком.

Оставшись один, Симон не мог одолеть отвращения и удивления. Ему не верилось, чтобы такой скользкий человек продал ему настоящие залежи

фосфата. Какое-то сомнение подымалось в его душе, какая-то грусть при мысли о том, что его последний луй исчез, как слабая птичка, очарованная боа...

Несколько мгновений он оставался неподвижным, рассеянный и сосредоточенный, рассматривая невидящими глазами обстановку своего трудолюбивого существования: географические карты на стенах, книжный шкаф, бумаги, завалившие его обширный рабочий стол и, на камине, над хаосом из образчиков минералов, бюст энергичного Наполеона...

Но он был не из тех, кто надолго поддается мечтам, предчувствиям. Он провел рукой по лбу, встряхнулся и воззвал к своему оптимизму.

ГЛАВА III,

В КОТОРОЙ ГОВОРИТСЯ О ВЕЛИКОМ КОРОЛЕ И О ВЕЛИКОМ ПУТЕШЕСТВЕННИКЕ.

Тем более, что это было совершенно необходимо, хотя бы только для того, чтоб успокоить самую доверчивую и самую простосердечную из жен, которая, уложив спать слишком чувствительного Алексиса, ждала его в столовой.

По правде говоря, эта доверчивость мадам де Торвиль существовала главным образом в воображении ее мужа: в действительности это кроткое существо жило в состоянии более близком к остолбенению. Но так как, слушая великолепные рассказы, которыми он окружал свои предприятия, она почти никогда не успевала возразить, он думал, что она заинтересована, и обнаруживал еще более щедрое красноречие. В редких случаях, когда ей удавалось вставить слово,

слово сомнения, муж ее погружался в такое оскорбленное изумление, что она больше не настаивала.

— Мне очень жаль,—сказал он, когда окончательно успокоился относительно судьбы своего сына,—мне очень жаль, что я не мог вам помочь, когда вы утешали это милое дитя.. Но, действительно, не было никакой возможности вырваться от этого старого негодяя. Мы остановились на таком пункте нашего условия, что я бы потерял все свои преимущества, если бы не стал их отстаивать шаг за шагом. Но это никоим образом не может вас интересовать, моя дорогая. Вы не должны знать этих мелких подробностей крупных предприятий. Для вас важны результаты. А результаты, не сомневайтесь, будут блестящие.

— Услышь вас бог!—вздыхнула мадам де Торвиль, покачав головой. — Но этот г. Сербек не обещает мне ничего хорошего.

— Ах, дорогая Поль, кому он обещает что-нибудь хорошее? Я и без вас заметил неизмеримое коварство этого человека. Но что мне за дело до его хитростей, кривляний и смехотворных препятствий, которые он нагромождает на моем пути? Я знаю, чего хочу, не правда ли? В день, когда начнется эксплуатация залежей фосфата, я с ним разделаюсь легко. Я брошу ему в лицо его двести тысяч франков, как кость собаке, а все остальное, вы слышите, все остальное достанется нам.

— ...

— А когда я говорю «нам», я больше всего думаю о вас, мужественная подруга моих тяжелых дней. Неужели вы думаете, что сердце мое не разрывается при виде того, что вы живете в этой маленькой квартире на улице Республики, темной и холодной,

недостойной вас со всех точек зрения... У вас будет замок, моя милая жена, прекрасный замок, построенный по моим планам, согласно вашим указаниям и вашему вкусу... Но не здесь, конечно. Я ненавижу Марсель, во-первых, потому что это город, оскверненный пеной всех культур, отрыжкой Востока, во-вторых, потому что мы потерпели серьезное разочарование в отношении жары, которую мы думали в нем найти. Вы согласны, что зимой здесь зуб на зуб не попадает? Нет, вам нужно поселиться на берегу моря, между Бандолем и Вентимилем.

— Я бы предпочла Алжир,—робко заявила Поль, как будто опасаясь порицания за такое непомерное желание.

Но Симон ничего не находил слишком прекрасным для нее, он ни в чем ей не отказывал.

— Само собой,—воскликнул он, озаренный.—Где же вам, такой зябкой, будет лучше, чем в Алжире? Уж я вам найду в Эль-Биаре маленький уголок среди арабских колоннок, апельсиновых садов и фонтанов, выложенных мозаикой, такой, что вам будет казаться, будто вы в Гренаде или Сицилии. Не говоря уже о том, что это местопребывание было бы всячески удобно для моих дел. Я не хочу торопить событий, но мало-по-малу я опущу центр моих операций к югу.. Разве что,—спохватился он, как бы внезапно увидев очень важное препятствие этому слишком заманчивому проекту,—разве что король взойдет на трон, и нам, естественно, придется следовать за ним. Кстати, у меня есть новости, очень интересные новости. Вы уверены, что Катарина нас не услышит?

— Уверена. Да потом, опасаться нечего: эта девушка никогда не проявляет ни малейшего любопытства. Единственная ее забота—это страх похудеть.

Она вечно повторяет, что весила сто восемь килограммов, когда поступила к нам, а теперь с трудом удерживается в пределах девяноста...

— А! А чем она объясняет эту... потерю?

— Не знаю... может быть, образом жизни. Она говорит, что дома она ела гораздо больше.

Г. де Торвиль нахмурил брови. Он угадывал здесь опять, скрытое во мраке, как болото под ногой рассеянного путешественника, устремившего взоры к звездам, присутствие одной из этих «мелочей», о которых нетрудно споткнуться людям, преследующим идеал.

— Вопросы хозяйственные, повидимому,—пробурчал он (он предпочитал в этих случаях телеграфный стиль, скорее очищающий мысль от этих пошлых и докучных образов),—вопросы хозяйственные. Временно. Скоро пройдет, по приведении дел в порядок.

И он продолжил прерванный на мгновение разговор.

— Нестор-Аякс находится сейчас в одном из городов Франции, имени которого я не могу вам сказать, но который не очень отдален от нас. Я в постоянной связи с ним. Он сообщает мне, что последние сведения, полученные оттуда, вполне благоприятны. Население Ангола и Темуко возбуждено. Значительная часть патагонцев обещала свое содействие в случае восстания. Но его величество не хочет погубить дело спешкой и решил войти в свою столицу только, когда его позовет его народ: он слишком хорошо знает, какая судьба угрожает монархам, которые навязываются силой.

— Значит, если его величество опять взойдет на трон, нам придется переселиться туда, в горы, к дикарям?

— Прости меня бог! Вы принимаете Арауканию за страну дикарей! Разве вы никогда не видели, на карте, которую я начертил, какое множество горо-

дов теснится на всем протяжении этого счастливого плоскогорья? Это одна из прекраснейших местностей в мире, и население ее достигло очень высокой степени культуры. Не забывайте, что арауканцы это, так сказать, французы Южной Америки. Мне кажется, что перспектива быть статс-дамой при дворе этого любезного монарха не должна пугать женщину. Многие, и более честолюбивые, никогда об этом и не грезили... К тому же, до упаковки чемоданов еще далеко. Ничто не тянется так, как революция...

В это мгновение звонок прервал г. де Торвиля; он вздрогнул.

— Что нужно от меня в такой час? Я готов сказать, что меня нет дома.

Но эта предосторожность была бы напрасной, потому что Катарина, в поту, запыхавшаяся, трагическая, словно произошла катастрофа, входила в комнату, как всегда, не постучав, с синей бумажкой в руке.

— Телеграмма!—воскликнула она, дрожа.—Телеграмма в десять часов вечера! В Ломбардии, никогда!.. Ты будешь худеть из-за них, бедная Катарина, ты будешь худеть, пока от тебя не останутся кожа да кости...

— Эта девушка меня изумляет,—сказал г. де Торвиль, с задумчивым видом созерцая дверь, которую она захлопнула за собой,—она может прожить еще добрых три месяца своими запасами, и жалуется!.. Что бы она сказала, если б она действительно голодала или у нее были серьезные, реальные заботы? Ребяческая душа!

Говоря это, он распечатывал телеграмму. Взглянув на нее, он не мог удержать радостного крика.

— Поль, угадайте! Угадайте, кто приезжает к нам. Паскаль! Мой брат Паскаль!.. Дорогой мальчик! Как

приятно увидеть его снова! Подумайте только: ведь уже два года, как он уехал. Великие боги! Воображаю, чего только он не везет в своих чемоданах! Это такой странный, такой любопытный человек! Немного фантазер, может быть! Это происходит от его ужасной рассеянности. Но—золотое сердце и блестящий собеседник.

— Как вы воодушевились, Симон!—заметила Поль, улыбаясь.—Вы меня совершенно убедили.

— Простите энтузиазм моей братской любви. Мне кажется, что все изменится, что упадут последние препятствия, отделяющие нас от окончательного успеха. Знаете что,—рискуя нарушить, если он уже глубок, сон нашего наследника, пойдем сообщить ему эту новость. Я убежден, что, когда он заснет снова, у него будут только лучшие сны.

Но, как раз наоборот, Алексис не спал. После двух часов беспокойной дремоты, мальчик проснулся и, вспомнив, что в смятении припадка он не помолился, как обычно, встал, чтобы выполнить ежедневный обряд. Стоя на коленях возле кровати, в длинной ночной рубашке, похожий на ребенка с английской гравюры, он произносил вслух всевозможные формулы, одни взятые из молитвослова, другие—внушенные его фантазии обстоятельствами. Собравшись открыть дверь, родители остановились в изумлении:

— Боже мой!—вздыхал Алексис,—ты, который меня слышишь, и которому жаль несчастных, и который помогаешь бедным, заключенным, обиженным, сделай, чтоб г. Фюмаду не было слишком холодно этой зимой перед своим магазинчиком и чтоб он получил много уроков музыки. И, если ты хочешь исполнить мою просьбу, сделай также, чтобы в залежах, которые папа купил у г. Сербека, был фосфат.

— Фосфат! — вскричал Симон громовым голосом, влетая, как ураган, в комнатку Алексиса, — фосфат! Ты просишь, чтобы в залежах твоего отца оказался фосфат?..

И, схватив его на руки и подымая к небу, как умиловительную жертву, в свою очередь обращаясь к богу:

— Ты слышишь, господи, это дитя, которое сомневается в дальновидности своего отца? Прости его и дай ему, для его счастья, побольше веры в жизнь.

Потом, уложив его в кровать и завернув в одеяла, как пакет:

— Угадай, дурачок, что я пришел тебе объявить, — сказал он, — приезжает дядя Паскаль.

В эту ночь все в доме спали счастливые, до того все были уверены, что произойдут необычайные вещи. Но особенно возбужденными были сны Алексиса. Ибо для него этот родственник, которого он видел всего три раза в жизни, но которого он обожал, был сказочным героем, всегда приезжавшим с конца света, чародеем, переодетым в статское, но достававшим из заколдованного чемодана всевозможные странные вещи, пахнущие далью и волшебного вида: четки из оливковых зерен, собранных в Гефсиманском саду, кораблик в бутылке (необъяснимое чудо!), уистити (увы! умершего от холода на третий день), варенье из Китая, шкуру белой лисицы, собственноручно им убитой. Он знал борнейского султана, который хотел его усыновить; дагомейская королева была без ума от него; он переплыл Амазонку в пироге, вдвоем с перуанским слугой. Откуда явится он на этот раз? Может быть, с неба...

ГЛАВА IV,

В КОТОРОЙ НА ГОРИЗОНТЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ТАИНСТВЕННОЕ ОЗЕРО.

«Буду завтра в полдень», гласил текст телеграммы, посланной Паскалем, но пока что Симон не старался понять, почему путешественник не писал или не телеграфировал раньше и почему телеграмма была из Марселя же. Не все ли ему было равно? Не носило ли все, что делал Паскаль, необычайный, фантастический характер? Его поступки не нуждались в оправдании банальными причинами, объясняющими поступки других людей: их надо было принимать такими, как они есть, и все тут!.. Слава богу, на земле еще будут некоторое время люди, непохожие на всех и охраняющие священные права неправдоподобного.

По правде сказать, Паскаль не был братом Симона в полном смысле этого слова, а только полубратом; г. де Торвиль-отец имел двух жен, и каждая дала ему по сыну. Но это только прибавляло дружбу по избранию к нежности старшего брата, которую Симон испытывал к Паскалю, и слишком редкие наезды последнего в Марсель казались ему настоящими подарками.

— Я даю себе сегодня отпуск, — сказал он; и, обращаясь к Катарине: — Не забудьте ничего, чтобы достойно принять исследователя!

По ремеслу, Паскаль де Торвиль был архитектором, но, предпочитая всему на свете путешествия, он нашел способ примирить требования своей профессии с причудами своей кочевой натуры: он принимал заказы

только за границей. Так он воздвиг в Африке, в Азии, на островах Тихого океана и в обеих Америках казармы, монастыри, выставочные здания, доходные дома в самых разнообразных стилях. Он знал бразильского плантатора, который строит себе червообразное и сверкающее обиталище стиля модерн, и сибирского купца, который и слышать не хочет о том, чтобы жить иначе, как в вертепе мюнхенского вкуса, похожем на надгробный памятник. Ему приходилось возводить кордовскую мечеть в бретонской степи, швейцарский домик на Цейлоне, итальянскую виллу в глубине норвежского фиорда. Но эти преступления против гармоничности пейзажа дали ему возможность удовлетворить свою страсть к далеким странам, и где только он не побывал, в погоне за недостижимым, редким, забытым, без всякой заботы о моде? Словом, законченный тип истинного путешественника.

— Однако, скажи мне, Паскаль, — спросил Симон, когда приезжий освободился от своего маленького чемоданчика (странного предмета, обтянутого чем-то в роде шкуры шакала, на три четверти облысевшей), предварительно вынув из него подарки, явно ничего не стоящие, но очень интересные, как-то — чучела ящериц, ожерелья из перьев зимородка, стрелы обитателей Конго, весла и запоны ¹⁾, и когда все семейство уселось перед кулинарными шедеврами отменной Катарины, — скажи мне, каким образом, приехав три дня тому назад, ты только вчера подумал известить нас о своем присутствии в Марселе?

— Это целая история, — ответил его брат, улыбаясь. — Я не мог прямо приехать к тебе, так как боялся тебя стеснить. Я был не один.

— Ты был не один! Не женился ли ты там случайно и не привез ли к нам, в старую Европу, какую-нибудь трапезундскую или зулусскую принцессу?

— Нет, со мной была сирена...

Сказочным, исполненным непреодолимого аромата легенды, прозвучало это слово за столом Торвилей. На один миг, воображение увидело между белыми утесами широкое море цвета бледного и прозрачного сапфира, полное легких игр этих чарующих существ.

— Сирена! Настоящая? — осведомился Симон, всегда в погоне за точностью.

— Увы! да, самая настоящая. И уверяю вас — это не очень красиво. Я выудил ее в Обокском море при моем возвращении и держал ее в ведре. Она занимает массу места и, надо признаться, похожа скорее на помесь тюленя с собакой, чем на красивую девушку. От ее пения заплакали бы лягушки. Но во всяком случае, какова бы она ни была, это подлинная сирена и исключительная редкость. Вот, собственно, единственная причина, по которой я навязал ее себе на шею. Но здесь, через несколько дней, я прямо не знал, что с ней делать, и сбыл ее, продав какому-то оригиналу, который чертовски щедро предложил мне три луи. Он открыл маленький балаган на Дамском бульваре и показывает ее за четыре су.

— Ты напрасно расстался с такой редкостью, — нравоучительно изрек Симон. — Если бы ты посоветовался со мной, я бы тебе дал совершенно обратный совет. Подумай только, Паскаль, сирена!.. Понимаешь ли ты значение такой добычи?.. Ах, всегда та же история: с тобой постоянно случаются необычайные вещи, и ты не умеешь их использовать, тогда как я, бедный домосед, разрываюсь на части и буквально из кожи лезу вон, чтобы достигнуть самой жалкой

¹⁾ Передники дикарей (Прим. перев.).

действительности... из которой мне приходится потом извлекать нечто редкое и оригинальное... Я не жалуясь, такова судьба. Где твоя сирена, и когда можно ее видеть? Мне крайне хочется ее посмотреть. Разве можно заранее сказать, на какие мысли это может навести...

— О Симон, — воскликнула Поль с робким упреком, — не довольно ли вам тех, которыми вы заняты сейчас?

— В делах нельзя пренебрегать ничем, — ответил он решительно.

И так как Алексис не мог удержаться, чтобы не запрыгать от радости при мысли о посещении этого мифологического животного:

— Не захотите же вы лишить нашего сына такого удивительного зрелища?.. Подумайте о бесчисленных людях, которые умерли, не увидав сирены, и что Алексис в девять лет... Это может навсегда изменить характер его воображения... Ах, Паскаль, я тобой доволен! Послушай, ты слеп; ты говоришь об этом приключении, как будто оно вполне заурядно...

— Эх! — сказал архитектор-исследователь, перебирая прокопченной рукой красивую вьющуюся бороду, — я пропускал немало других случаев. Прелесть путешествия в этих сожалениях. Что ж ты хочешь? Жизнь слишком коротка, и нет времени проводить больше одной недели в каждом из многочисленных мест, где мы всякий раз мечтаем поселиться до конца наших дней. Поэтому надо оттуда вырываться. Несчастный сидень, что бы ты сказал, если бы видел озеро Фатиму?

— О, да, дядечка, — воскликнул Алексис, который уже не мог стерпеть от любопытства и волнения, — о, да, дядечка, расскажи про озеро Фатиму...

— Так вот! Представьте себе изумительную страну, я разумею для охотника. Это в Алжире, за горами Меджерда, в котловине, среди очаровательных холмов. Оно невелико; например, едва ли в двадцать раз больше, чем Старый Порт, но берега его переполнены всем, что только можно себе представить из животного мира: куропатки, утки, цапли, лысухи, чибицы, драхвы, а в воде соответственное количество рыбы. Разумеется, все эти звери привлекают других, которые их подстерегают: что образует как бы пояс из шакалов, гиен, воронов и коршунов. Кажется, там даже видели льва, лет семь тому назад. Представьте себе удовольствие прогулки с ружьем за плечами. Можно буквально стрелять в кучу, нередко убивают одним зарядом трех или четырех зверей. И вот, я прожил там пять дней. Сказать, что я уехал оттуда без грусти — значит солгать. Тем не менее, когда пришлось собираться, я воззвал к моей восточной покорности и покинул этот маленький рай, даже не оглянувшись на него в последний раз. На следующий день я уже о нем не думал.

Слушая рассказ об этих волшебных краях, Симон впал в еще более глубокую задумчивость, чем его сын. Он вырвался из нее, чтобы спросить:

— Как ты туда попал, дорогой Паскаль?

— Я уже теперь хорошо не помню. Это было в мой последний отъезд, года два тому назад, должно быть. Надо было что-то строить в окрестностях Тебессы, будку или школу, не помню теперь. Я остановился там на обратном пути, чтоб поохотиться. Единственное жилище там — это хижина, где живет старый чудака-араб, по имени Си-Бу-Бекр, который и показал мне места для засады.

— Но ведь этот Си-Бу-Бекр находится там не для



своего удовольствия. Он зависит от кого-нибудь, от кого-нибудь такого, к кому можно обратиться, если...

— О да, он состоит своего рода управляющим хозяина этого места, старого хрыча, который не знает, чем владеет, некоего Сек... Сер... Сербека.

Симон чуть не подскочил до потолка.

— Сербек!—воскликнул он, захрипев. И с ужасной силой воли овладевая собой:

— Надо, слышишь, Паскаль, надо, чтоб он никогда этого не узнал... Ах, если б ты знал, какой удар ты мне нанес... Нет, нет, ты даже не подозреваешь... Это слишком—в такой короткий срок... Разрешите мне на несколько мгновений уйти в себя, чтоб опомниться, чтоб подумать... Продолжайте кушать, не обращайтесь на меня внимания.

И г. де Торвиль, нарушая элементарные правила гостеприимства, которые велит пренебрегать самыми важными заботами из внимания к лицам, почтившим вас своим присутствием, г. де Торвиль, поставив локти на стол и зажав глаза ладонями, погрузился в напряженное размышление, к которому все отнеслись с уважением: Алексис, потому что дети не судят родителей, Паскаль, потому что в широком мире видел много еще более странных обычаев, и Поль, потому что, не измеряя во всей ее глубине бездну мыслей, в которой утонул ее муж, понимала, какое потрясение он должен был испытать, услышав имя страшного г. Сербека, владельца фосфатов. Симон до того ушел от окружающего мира, что ничто не могло вернуть его обратно, даже забавное вмешательство Генерала Дуракина, который со свойственной его породе и возрасту живостью бросился на стол и попал прямо в крем, где яростно забился, испуская крики ужаса. Так как с давних пор все усилия хозяев воспитать

его были бесплодны, оставалось только смеяться над его выходками. Что было сделано и на этот раз.

Подняв голову, Симон секунду созерцал, с оторопелым видом, эти странные смеющиеся существа; потом, не пытаясь восстановить связь с действительностью, слишком уж отличной от его дум, воскликнул:

— А теперь, дети мои, идем смотреть сирену. Это единственная работа, на которую я сегодня способен.

И когда Паскаль попробовал было отказаться, Поль шепнула ему:

— Не противоречьте ему. Я угадываю, что он подготавливает что-то очень важное.

ГЛАВА V,

В КОТОРОЙ ПОСЕЩАЮТ ВЕСЬМА НЕСЧАСТНУЮ СИРЕНУ.

Посреди Дамского бульвара, на пустопорожном клочке земли, между двумя строящимися зданиями, возвышался скромный домик из холста, в заслугу которому надо было поставить, что он не поддавался яростным и хитрым приступам мистрала. Он хлопал, как жалкая палатка в пустыне, и надо было приниматься несколько раз, чтоб прочесть до конца надпись, сделанную красными буквами на белом коленкоре, нашитом широкой полосой над входной дверью:

ДВОРЕЦ СИРЕНЫ.

Это удивительное животное, вероятно последнее из чарующей породы, некогда населявшей Средиземное море было поймано при самых драматических обстоятельствах профессором Константином Зомпсом, во время одного из его опасных путешествий между Сицилией и Харибдой. Красота ее лица, нежность ее голоса, ее тело, в высшей степени женственное по поясу и меланхолически прерванное ярко выраженным рыбьим хвостом, делают ее любопытнейшим из аттракционов, когда-либо виденных марсельской публикой. Спешите: это, может быть, последняя сирена.

*Вход во дворец:
20 сантимов.*

Увы! эти соблазнительные обещания не производили никакого впечатления на бесчувственное фокейское население, потому ли, что его привлекали еще более удивительные зрелища, потому ли, что оно было от природы пресыщено, потому ли, что Дамский бульвар был слишком скверным местом. Когда семья Торвилей проникла во «Дворец Сирены», там не было иных посетителей, кроме трех неопределенных про-

хожих, испуганных и потрепанных, зашедших туда, чтоб укрыться от ветра.

Увидев эти четыре особы, очевидно высшей касты, г. Константен Зомпс встал. Это был человек среднего роста, но казался он выше, благодаря своей сухости и высоким каблукам. Он был одет в костюм, жилет которого он заменил красной фуфайкой, из тех, что напояливают укротители при усмирении зверей, а цыгане — скрипок. В его правой руке дрожала тросточка, и его сверкающие глаза, его агатовые волосы, разделенные на пряди, его длинные усы, шевелящиеся вдоль щек, синеватых от неумолимой бороды, его акцент (как только он заговорил), все в нем свидетельствовало об эллинском происхождении.

Он тотчас же узнал Паскаля де Торвиля, бросился к нему, буквально схватил за ухо, в которое и шепнул такое признание:

— Ни слова, не правда ли? которое навело бы на мысль, что вы продали мне это чудовище: иначе, моя репутация погибла.

Паскаль согласился, улыбаясь. И, отныне успокоенный, г. Константен Зомпс приготовился демонстрировать свою воспитанницу этим почетным гостям.

Это было бедное замученное животное, грустного землистого цвета. Можно было только с большим трудом различить очертания того, что в более счастливую для его племени эпоху было лучезарным телом морской нимфы. Голова была покрыта жалкими намочшими волосами, глаза были такие тусклые и прикрыты такими тяжелыми веками, черты лица такие неопределенные, что все вместе скорее напоминало мордочку выдры или тюленя. Никто не мог бы сказать, где начинается карп, где кончается акула, равно как дать точное название неуклюжим отрост-

кам, которые силились казаться руками. Единственным видимым преимуществом, которое она приобрела от перемены хозяина, было то, что вместо того, чтоб плескаться в ведре, она могла резвиться в чем-то в роде лохани для крокодила. Она скорчилась в нем, как бесформенная мертвая медуза.

— Я зову ее Калипсо, — сказал г. Зомпс, сделав вновь пришедшим знак головой, чтобы дать им понять, что его речь предназначена не для столь осведомленных особ, но для неопределенно-любопытных посетителей, которые им предшествовали; — я зову ее Калипсо, именем, которое она носила, когда играла среди пены Циклад. Увидев меня, она поднялась на волнах, беспечная, как богиня, и так восхитительно запела, что я бросился вплавь, опьяненный желанием овладеть ею. Несколько мгновений мы боролись среди волн; множество раз обхватывал я ее неистовым объятием, множество раз она ускользала от меня. Но настало мгновение, когда моя сила победила ее сопротивление. Я вынес ее на берег, где, обессиленная, она сдалась, с движением очаровательной стыдливости. Тем не менее, — добавил он скромно, как бы отвечая на возражения присутствующих, — сейчас трудно судить об ее прелести, из-за разницы между вольным морем и этим бассейном. Ну, Калипсо, улыбнитесь присутствующим.

Он подразнил ее кончиком тросточки. Пленница подпрыгнула, поднялась на край чана и, широко раскрыв пасть, испустила стон, такой протяжный, жалобный и безнадежный, что мадам де Торвиль чуть не лишилась чувств.

— Она еще иногда поет, — пояснил Зомпс, — но я не скрою от вас, что она предпочитает жаловаться. Я думаю, она сожалеет о прошлом.

Это было так верно, вдвойне верно, — с точки зрения мифологии и действительности, — что никто не возразил, и сама Калипсо умолкла, соскользнув на дно своего «бассейна»: Трое прохожих использовали это мгновение, чтобы скрыться, заплатив каждый по четыре су.

Тогда г. Зомпс, пройдя в отгороженный угол балана и пробыв там несколько секунд, вышел без тросточки и заменив свой красный костюм строгой визиткой.

— Простите, — сказал он, — я не ожидал вас, и мне пришлось на несколько мгновений сохранить лохмотья укротителя и тон паяца. Но я прежде всего светский человек, и мне приятно очутиться среди людей моего круга. Нет ремесла, недостойного воспитанного человека, не правда ли? Но, должен признаться, от этой профессии я ожидал большего. Сирена, подумайте! всю жизнь я мечтал увидеть сирену. И теперь я не только ее вижу, я ею обладаю. И вот потому, что я спрашиваю двадцать сантимов за доступ к ней, вокруг меня образуется пустота. На что мне решиться теперь? Я привязался к этому бедному животному, чей взгляд растрогал бы австрийского дипломата. Я не хочу ее покидать.

Симон, который, по правде сказать, хотел, главным образом, показать сирену своей семье, смотрел на нее невнимательно. Напротив, он не спускал глаз с ее хозяина, который, казалось, интересовал его гораздо больше. Глядя на него, он как будто старался связать старую мысль с новым намерением и тайне вопрошал эту физиономию, чтобы получить какой-то ответ. С тонкостью, свойственной племени, которое уже дало нам Одиссея, хозяин сирены чувствовал это, вот почему он и стал говорить, обращаясь исключительно к Симону.

— Наконец,—сказал он,—будьте судьей. Разве это существование для доктора, для доктора медицины? Но к чему служат теперь наука и самые благородные наклонности ума? Один противник, и все эти преимущества опрокидываются, как карточный домик под дуновением дитяти. У меня были враги, сильные враги. Они сумели сделать ненадежным для меня мой родной город, Миссолонги, где я практиковал и имел хорошую клиентуру. Я покинул отчизну. Говорят, что хлеб на чужбине горек. Ложь: он превосходен. Но его страшно трудно заработать. Я работал на всевозможных людей. Все они хотели меня обмануть и получить максимальное усилие за минимальное вознаграждение.

— Этому настанет конец, — внезапно произнес г. Симон де Торвиль, как бы исправляя разом все прошлые и настоящие несправедливости.—Сделайте мне одолжение, мой дорогой г. Зомпс, прийти к нам позавтракать в будущий вторник. Я надумал для вас нечто, что сможет вас заинтересовать.

И он вышел, величественный и простой, оставив г. Зомпса наедине с его жалобной подругой. И так как Паскаль, Поль и Алексис тоже казались изумленными:

— Дорогой Паскаль,—сказал он,—само провидение поставило вас на моем пути, тебя, твое алжирское озеро, твою сирену и твоего доктора-грека. Мне кажется, я напал на самое значительное предприятие моей карьеры.

И на ветру, который высмеивал его грубым и скептическим свистом, он заговорил, намечая в общих чертах набросок огромного дела, только что возникшего в его уме:

— Знаете ли вы, что мешает большинству фран-

цузов предаваться охоте, я разумею охоте на крупную дичь, на свободе, а не в загонах, предназначенных для нелепых гекатомб? Отсутствие охотничьих участков, скажете вы. Ошибаетесь. Это отвращение к охоте на земле, принадлежащей всем. Только собственнику приятно охотиться. Так вот, я предлагаю всякому желающему—иллюзию собственности и охоты в своем поместье. И в какой стране? В сердце Алжира, на берегу озера, о котором Паскаль говорил сегодня утром. Слушайте внимательно.

Я беру охотника по его прибытии в Марсель и с этого момента освобождаю его от всех издержек. Я предлагаю ему путешествие на пароходе, ночевку в Бонской гостинице, чтоб он мог отдохнуть от морского путешествия, железную дорогу и дилижанс, наконец пребывание в комфортабельном доме на берегу озера: еду, ночлег и т. д. Короче,—месяц охоты в стране, которую ты описал мне, как самую богатую дичью в Африке (я ее вижу, как будто был там). И вот, я убежден, что, спросив с каждого из этих любителей напряженной жизни скромную сумму в тысячу двести франков, я заработаю от двухсот до трехсот франков с каждого охотника, то-есть, если я соберу хотя бы только сто подписчиков (а это, ты согласишься сам, смешной минимум),—что-нибудь в роде двадцати или тридцати тысяч франков в месяц. Сведем до четырех число месяцев охоты. Это даст нам от восьмидесяти до ста двадцати тысяч франков в год чистого дохода. Можно оплатить озеро в два года, если не предпочесть—там видно будет—систему постепенного погашения. Таким образом я даю множеству людей возможность вести в течение нескольких недель действительно княжескую жизнь и при-бавляю огромную ценность стране с большим буду-

щим, одной из колоний, для которых Франция принесла наибольшее число жертв. Патриотическое дело, в некотором роде. Ах, мой старый Паскаль, ты можешь сказать, что тебя осенила блестящая мысль, когда твоя звезда (так как здесь—не случай) привела тебя к озеру Фатиме. И я хочу, чтобы моя благодарность не осталась платонической. Ты получишь право охотиться на озере и даже, если ты захочешь, ты можешь стать чем-то в роде распорядителя охотничьего церемониала, на жалованьи, которое ты назначишь.

— Ты меня извинишь, — ответил Паскаль, — если я не смогу сейчас принять твоё предложение. Но мне необходимо ехать через несколько недель в Палестину, куда меня зовет твоя тетка, мать Сент-Ансельм. Она только что основала орден Баптистандинок и хочет, разумеется, построить главный монастырь на Иордане, при впадении в Мертвое море. Это очень большая работа, и мне надо быть на месте, чтобы руководить постройкой. Ты себе представить не можешь, как трудно найти рабочих в этих пустынных краях.

— Могу себе представить. И я не хочу связывать твоего будущего. Но ты не откажешься, по крайней мере, начертить планы гостиницы, которую мы воздвигнем на берегу озера Фатимы. Нечто очень скромное с точки зрения наружных украшений, но комфортабельно устроенное. Нужно сто комнат для охотников, горячую и холодную воду, электричество, отопление, игорный зал.

— Я сделаю все, что ты хочешь, твоя идея — великолепна.

— Но, Симон, — жалобным голосом тихо возразила тогда Поль, — мне кажется, вы забываете для этого нового предприятия все уже начатые: залежи фос-

фата, искусственный мрамор и... и восстановление Арауканского короля.

— Ах, Поль, вы всегда будете для меня пугливой курицей, которая дрожит над своими цыплятами, пока петух ищет корм для семьи. Я ничего не забываю, я никогда ничего не забываю. Я только откладываю, я отсрочиваю. Искусственный мрамор и фосфат только выиграют, если созреют, прежде чем их сорвут. Что же касается Нестора-Аякса, разве он так уже дорожит неимущим министром? Я бы сам не хотел быть вынужденным получать от него жалование и подрывать бюджет молодого государства. И потом, надо признаться, его величество не готов. Я еще, пожалуй, успею разбогатеть, прежде чем буду ему нужен.

— Но, — добавила еще мадам де Торвиль, — вы слышали? Хозяин этого озера — Сербек. Это вас не пугает?

— Я великолепно слышал. И это меня несколько не пугает; напротив. У меня есть план. Вам придется подождать несколько дней, прежде чем я вам его объясню. Теперь же, мы отправимся домой, и с сегодняшнего же вечера я сажусь за работу.

Таковы были странные речи, которыми обменивались г. де Торвиль, его жена и брат, среди жестокого вихря мистралья, на который они не обращали ни малейшего внимания. В то время как, разинув рот и слушая их с почтительным восхищением, юный Алексис заготавливал, для будущих ночей, сновидения, полные удивительных зверей, пылких охотников, финансистов, жонглирующих золотыми слитками, экзотических пейзажей и королей, вступающих в свою столицу при звуках триумфальной музыки.

ГЛАВА VI,

В КОТОРОЙ МАДАМ ВУСЮР ПОКАЗЫВАЕТ КОНЧИК
СВОЕГО ХОРОШЕньКОГО НОСИКА.

Я уже говорил, что мадам де Торвиль была очень набожна; без всякого притворства, но пламенно. Благочестие было главным делом ее жизни; и самым ярким признаком ее искреннего и глубокого интереса к предприятиям ее мужа была заботливость, с которой она поручала их богу в своих молитвах. Но бог сам слишком уважает законы, им же установленные, чтобы нарушать их без особых причин, особенно в наше время, когда чудеса бывают так редко. И потому, вопреки настояниям этой избранной души, он предоставил дела г. де Торвиля нормальному их течению.

Но Поль не падала духом. Она довольствовалась, подражая в этом самому Симону, тем, что переносила на последнее предприятие—надежды, неоправданные предыдущими. Разумный способ, который предохранял ее от отчаяния. Помимо того, в проявлениях набожности самих по себе она находила тончайшее удовольствие. Это очаровательное существо жило в постоянном общении с Христом и богоматерью, она любила их огромные храмы, как и самые уединенные часовни, их пышные церемонии, как и службы, произносимые шепотом; она говорила с ними тоном нежной близости. Сколько часов провела она в теплой атмосфере церквей, глядя, как искрится неопалимая купина вечерни вокруг священника, похожего на золотого сверкающего скарабея, или следя, как все понемногу обволакивается тенью, когда ризничий

с войлочной поступью погасит последние свечи, и разойдутся самые сонные верующие, и останется только слабый и сладкий запах ладана!..

Мало по малу таким образом у нее завелись знакомства... Но как назвать эти необычные дружбы и как их определить? Был отец Ферранд, аскетический и гордый доминиканец, которого она избрала своим духовником, потому что однажды в кружке он проповедывал так грозно. И, удивительная вещь, этому человеку, которому она доверяла сокровеннейшие тайны своей внутренней жизни, она никогда бы не рассказала подробностей своего будничного существования. Эти признания она оставляла для отца Журдина, викария ее прихода, духовного Роже Бонтана¹⁾, которому она исповедывалась лишь в крайних случаях, когда, путешествующий или больной, отец Ферранд исчезал надолго. Аббат Матиас Журдин приходил на дом, он смеялся, приносил медали и конфеты Алексису. Иногда вечером он садился за лото или безик. Наконец ему были обязаны присутствием под кровом Торвилей почтенной мадам Вусюр, которую горестное время заставило взяться за скромные обязанности поденной портнихи и которая знавала лучшие дни, как о том свидетельствовал ее необыкновенно лохотенный слог.

Самый искусный психолог, доктор, привыкший к ошибкам природы в отношении человеческих лиц, не смог бы угадать значение лица мадам Вусюр, столько было в нем противоречивых признаков. Была ли веселая полнота остатком свежести или пухлостью старой женщины, у которой не работает желчь? И при чем был тут (чтоб еще больше спутать диагноз) маленький красный рот, круглый и съезженный, как

¹⁾ Тип беззаботного весельчака. (Прим. перев.)

вишня, который всегда казался произносящим вещи и кокетливые слова: «плюш, тюль, изюм»? Черные волосы, достаточно седеющие, чтобы не заподозрить их в краске, полные красивые руки игуменьи, вид театральной маркизы, маринованной в церковном укусе—у мадам Вусюр не было возраста. Она противилась времени.

Мало по малу, с той слабостью, которую самые скрытные существа испытывают по отношению к женщинам, приходящим на день чинить их белье, мадам де Торвиль привыкла не то, чтоб рассказывать себя мадам Вусюр (она бы очень удивилась, если б ей сказали это), но думать вслух при ней. И мадам Вусюр слушала, почтительная и беспристрастная. Таким образом мадам Вусюр узнала очень важные вещи, именно, что у г. и г-жи де Торвиль с некоторых пор раздельное имущество. Эта мера, провозглашенная спасительной адвокатом семьи и против которой Симон не имел возражений, так как, напротив, он признавал ее необходимейшей гарантией против почти неодолимой склонности к смешению капиталов, свойственной соучастникам по предприятию, эта мера представлялась Поль необычайно смелым поступком в отношении человека, с которым она считала себя связанной навсегда. Тем более, что маленькое наследство от английской кузины, получения которого она ожидала в скорости, должно было уничтожить платонический характер этого раздела: действительно, получался—с одной стороны человек, перегруженный работой и лишенный денег, с другой—женщина праздная и живущая на проценты. Поражающее неравенство. И вот, не смея высказать свои сомнения тому, кто относился к этому вопросу так легко, Поль, благодаря нелепому, но естественному

течению вещей, доверила их мадам Вусюр, в пережку с самыми мимолетными и самыми пустяковыми мыслями, мелькавшими у нее в голове.

На следующий день после посещения сирены не было недостатка в темах для разговора.

— Я, собственно говоря, никогда не видела сирены,—говорила мадам Вусюр,—но я отлично знаю, что такое тюлень, а все эти животные в некотором родстве, не правда ли? Но мои средства позволяют мне содержать только Гремпро, полу-ангорского кота, спутника моей жизни. Когда имеешь возможность тратить не более трех франков в неделю на пищу, трудно содержать роскошных рыб..

— Три франка в неделю! — воскликнула мадам де Торвиль.— Это мечта всех хозяек. Я не понимаю, как вы можете ее осуществлять.

— Как видите, я тем не менее скорее процветаю,—возразила мадам Вусюр, самодовольно осматривая себя...—Но я согласна, что это прежде всего вопрос темперамента. Есть люди, которые не могут обойтись без вина, мяса, хлеба и других излишеств. Ясно, что это далеко их заводит в вопросе бюджета. Для меня эти продукты были бы скорее возбудителями. Они не питают меня, а пучат. Тогда как молока на один су, булок на три су, картошки на два су и вечером немного ухи из водорослей—для меня достаточно: по крайней мере, я не потеряла ни унции. Приспособляться—в этом все! Но я вам надоедаю с моими хозяйственными рассказами.

— Ничуть, милая мадам Вусюр, напротив. Я вас слушаю обоими ушами и много бы дала, чтоб осуществить в моем хозяйстве чудеса, которые вы совершаете в вашем.

— Условия неодинаковы, — снисходительно заметила портниха-барыня. — Г. де Торвиль много тратит.

— Что вы хотите этим сказать?

— Я только намекаю на трату энергии, вызываемую чрезмерной работой. Я бы не позволила себе, конечно, стать на другую точку зрения... Если я и помню кое-что из того, что вы мне как-то говорили по поводу дел г. де Торвиля, то это всецело таится во мне... Мой бедный муж часто говорил мне: «По части молчания, Антуанетта, вы жемчужина...»

— Я в этом уверена так же, как и он.

— Ах, это меня утешает! Вы ведь знаете, что я не всегда была тем, что сейчас. Я знала блестящее существование: у меня даже был свой день, да, свой день, среда, когда я принимала элегантных и богатых дам... Все это растаяло, как дым. Мне осталась, с божьей помощью, дружба аббата Журдина, который меня никогда не покидал. Достойный человек! Но вы же хорошо его знаете.

— Конечно.

— Мы часто говорим о вас. Он смотрит на вас, как на одну из своих самых интересных прихожанок... Он всегда восхищается вашим умом, вашим тактом, достоинствами вашего сердца и разума... Да, да, и все, что он говорит, совершенно верно, и протестовать нельзя. Одно его беспокоит.

— Что же, боже мой!

— Он боится — только не рассердитесь, это опасение внушено ему симпатией к вам, — что сила убеждения г. де Торвиля, когда он имеет в виду какое-нибудь блестящее предприятие, так велика, что вы можете согласиться...

— На что?

— На участие в этом предприятии, в решительный

момент... что вы втянете в дело заповедную долю, которая охраняет ваш очаг и будущее г. Алексиса.

— Вы можете его успокоить. Мой нотариус пишет мне, что процесс, наконец, окончен и что через несколько дней я должна получить деньги, которые достались мне по наследству от моей кузины. Эти деньги он прямо переведет в банк: они даже не пройдут через мои руки. Я тем более решилась на это, что таково же мнение моего мужа. Я помню его собственные слова: «Ах, моя дорогая Поль, мы оба были молоды, когда я бросал ваше приданое в горнило предприятий. Но мы больше не имеем права быть неосторожными. Надо думать о нашем сыне».

— Такая заботливость делает большую честь г. де Торвилю. Не много мужей, особенно при такой увлекающей профессии, были бы способны на такую поддержку. Но вы только что сказали, что должны получить капитал через несколько дней. До чего вы должны быть довольны!

— Ах, скорее озабочена, дорогая мадам Вусюр, так как мне даже думать запрещено об этих деньгах. Я не буду иметь права что-либо с ними делать. Отказывая в них мужу (а он сам не захочет их), я не могу воспользоваться ими для кого бы то ни было. Подумайте, я даже не посмею пригласить опять бедного г. Фюмада, которому пришлось отказать третьего дня.

— О, г. Фюмад! — воскликнула добрая мадам Вусюр голосом, полным недоговоренности. — Г. Фюмад не был достойным учителем для г. Алексиса.

— Я согласна, что это не великий артист. Но подумайте о том, как тяжело ему живется. Мысль, что он рассчитывал на скромное жалованье, которое

получал здесь, и что теперь лишен этого источника, довела моего сына до припадка отчаяния.

Но когда дело касалось г. Фюмада, мадам Вусюр была недоступна жалости. Широкая струя уксуса изменила паточный говор ее розовых губ.

— Ах, нет, нет,— сказала она,— я далека от того, чтобы разделять вашу снисходительность... Если г. Фюмад сейчас в беде, он сам же виноват. Нельзя исповедывать атеизм с более отвратительным цинизмом... Пусть он также не говорит нам, что судьба преследует его. Судьбы нет: что посеешь, то и пожнешь. Когда г. аббат Журдин предложил записать его в число призреваемых приходом, для выдачи ему небольшого ежемесячного пособия, на единственном условии — присутствовать в пристойном виде при богослужении и причащаться через воскресенье,— угадайте, что он ответил: «Я готов лучше околеть с голоду, чем кушать господа бога каждые две недели». Ужасное богохульство! За которое он теперь хорошо наказан... Но, увы, он из тех, кого ничто не просвещает.

— Не надо так говорить, мадам Вусюр: из всех грешников церковь осуждает только Иуду. Нельзя же сравнивать г. Фюмада с Иудой.

Но мадам Вусюр не позволяла себя растрогать. Молчаливая, оскорбленная, она облеклась в оглушительный шум швейной машины и скрылась в нем целиком, со всеми своими досадами, капризами и задними мыслями.

ГЛАВА VII,

В КОТОРОЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРОЕКТ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.

— Во-первых, ты мне дашь свои школьные тетради,— сказал г. де Торвиль своему сыну, возвращаясь от сирены.— Я знаю, что ты имеешь привычку выбирать их с картинками по естественной истории: наконец-то они пригодятся.

Он заперся в кабинете и, окруженный печатными образцами всех известных животных, принялся за работу. Он появлялся только к еде и то на несколько секунд, рассеянный, лихорадочный, даже немного угрюмый, и все уважали это состояние, как предвещающее нечто значительное.

Результат, действительно, оказался грандиозным. Однажды вечером, после десерта, Симон пригласил все семейство ознакомиться с его *chef d'oeuvre*... Он сказал:

— Тише! Идите за мной.

Он таинственно открыл двери своего *studio* и, напав свет лампы на стену, прошептал только:

— Смотрите!

Это был огромный лист белого бристольского картона, широкий и высокий, как афиша, покрывающий всю поверхность, которую недавно занимала карта Араукании. Он изображал, всего на всего... озеро Фатиму, но не таким, каким видел его Паскаль (да разве путешественник знает, что он видит?), но таким, каким, по представлению Симона, должны были вообразать его себе охотники, которых он собирался туда доставить.

Воды озера, увеличенного хитрой перспективой, умирали среди камышей, внизу плаката, а далекие волны, в глубине, терялись в неясном тумане, сотканном из горных вершин и пушистых облаков. Полукруглые холмы замыкало этот пейзаж, набитый до отказа всеми известными животными и даже такими, которые не имели ни малейшего понятия об африканской земле. По правде сказать, Симон не позаботился о согласовании точки зрения зоологической с точкой зрения географической. Он нарисовал пером, с искусством терпеливым и копотливым до головокружения, всех зверей, даже самых невероятных, которых ему подсказали обложки тетрадей Алексиса. Кайман убит до ушей журавлю пепельного цвета, который подымал лапку в его сторону, в знак презрения. Быстрая выдра преследовала осетра, явно чувствующего себя чуждым в этой местности. С вершины пальмы гигантский хамелеон следил круглым, вращающимся глазом за восхождением боа-констриктора, обвившегося вокруг ствола, как лиана. Изобилие ибисов, фламинго, чирков, зуйков, пигалиц, диких уток заполняло все пространства, не занятые более крупными зверями, как-то: гипопотами, буйволами, пятнистыми пантерами, рысями, медведями, кабанами и т. д. Немного шакалов и гиен, так как эти звери и отвратительны, и банальны. Напротив, серна, антилопа и олень дружно шипали один и тот же кустик. Вся гамма птиц, от коршуна до колибри, заполняла воздушное пространство. Даже сказочного нарвала г. де Торвиль счел нужным поместить в этот пестрый синедрион. Он преследовал непреклонным рогом утконоса, явно уstraшенного такой встречей. Наконец, посредине этого синоптического каталога мировой фауны и, должно быть, с целью напомнить зрителю точное

место действия, шейх в тюрбане и пышно задрапированный в развевающиеся складки великолепного бурнуса, джигитует на горячем арабском коне, одной рукой потрясал вороненым и разукрашенным ружьем, в то время как на другой, зажатой в кулак, недвижно сидел сокол, ошеломленный столь богатым выбором.

Наверху, слева, большими жирными заглавными буквами, видными за 30 метров,— слова:

«ВИД ОЗЕРА ФАТИМЫ».

— Теперь, когда вы видели, — сказал отец семейства, молча насладившись восхищенным изумлением своих,— слушайте!

Тогда он сел к столу и, открыв прекрасную тетрадь пергаментной бумаги, сшитую зеленой лентой, прочел следующий документ:

«Озеро Фатима—бесспорно, самая прекрасная и самая богатая дичью область Алжира, я бы даже сказал Африки, если б не боялся задеть тех, кто с большим трудом и ценой значительных затрат испытывает опасное удовольствие охотиться в зарослях Замбези и на большом экваториальном плато. В нескольких днях пути от французского берега, после столь же комфортабельного, сколь живописного путешествия, ослепленный глаз внезапно открывает чудесный ландшафт, где кажутся как бы нарочно собранными самые разнообразные представители алжирской фауны и флоры. Исследователь, турист, поэт, просто светский человек найдут здесь множество поводов к прогулкам и к размышлениям. Но кто опишет радость охотника? Нет куста олеандра, нет роши мастиковых деревьев, которые бы не таили груды добычи; есть для крупной и мелкой дрови и для пули сына

Нимврода. И это понятно: озеро, питаемое множеством чистых источников, скрытых и видимых, рекой»...

— Я должен сказать, что не видел реки,—заметил Паскаль, для очистки совести.

— Оставь, мой милый, подробности не играют роли. Я продолжаю...

... «рекой, обильной водами во всякое время года, образует драгоценнейший резервуар питьевой воды для тысяч и тысяч животных, которые приходят к нему на водопой с самых отдаленных точек горизонта. В недостаточном количестве, чтобы создать опасность, достаточном, однако, чтобы привлечь отважного охотника, презирающего более мелкую дичь, крупные хищники пестрят среди более скромного сборища оленей и серн, диких уток, фламинго и фазанов самой богатой раскраски, какая только известна, считая и австралийских фазанов.

Короче, эта счастливая обитель приютила в некотором роде всех животных мира, соединенных здесь не искусством владельца, откармливающего дичь для методического избиения, а ухищрениями самой природы, на полной свободе, в полном одиночании, и обладающих с точки зрения кулинару (не надо забывать, что часто Нимврод бывает в то же время Брилья-Савареном ¹⁾) тем замечательным вкусом, тем сладостным ароматом, который мясо получает только тогда, когда зверь вынужден искать себе пищу среди душистых соков почвы.

¹⁾ Известный гастроном, автор книги «Физиология вкуса» (1755—1826). (Прим. перев.).

Но, скажете вы, как попасть в эту таинственную страну, в эту райскую область? Как добраться до этих небывалых охот? И как жить, как устроиться среди этой заманчивой добычи?

Общество Торвиль (акционерное общество совладельцев капитала в два миллиона пятьсот тысяч франков)...

— Я говорю два миллиона пятьсот тысяч франков (самую низкую цифру капитала, которую только можно указать), чтобы не казалось, что я втираю очки, чтобы, напротив, подчеркнуть скромность, так сказать, семейный характер дела, его интимность; итак, Общество Торвиль...

... «изучило свои возможности и предлагает из ныне пубlique, интересующейся охотой.

Благодаря своему могущественному влиянию, особенно же, — это необходимо признать, — благодаря огромным жертвам, им принесенным, оно смогло организовать для Господ Охотников, которые соблаговолят подписаться, самую выгодную комбинацию. За бесконечно скромную, скажем даже смешную сумму в тысячу двести франков, они будут путешествовать на великолепном пароходе, питаться и жить на всем готовом в течение всего пути, пользоваться лучшими гостиницами тех городов, где им придется останавливаться, и, наконец, будут встречены с широким гостеприимством в роскошном помещении, которое Общество предоставляет в их распоряжение на самом берегу озера. Короче, за исключением паспорта и охотничьих припасов (впрочем, что касается последних, то администрация Fatima's Palace предоставит в их распоряжение пол-

ный ассортимент), им не придется нести никаких расходов, и они смогут вести широкую и свободную жизнь, предписываемую наиболее выдающимися гигиенистами... И ЭТО В ТЕЧЕНИЕ ЦЕЛОГО МЕСЯЦА.

Мы самым настойчивым образом обращаем внимание любителей крупной охоты на беспримерные преимущества этой остроумной комбинации. В любой час, когда они пожелают пожелать для переговоров в бюро Общества, они найдут агентов, которые будут счастливы сообщить им дополнительные сведения: окончательный маршрут, дорожный костюм, необходимые меры предосторожности и т. п. Неимеющим возможности пожелать лично, эти сведения будут доставлены почтой по первому требованию.

За председателя Общества

НЕРАЗБОРЧИВО.*

Р. С. Спешите. Дабы не уничтожить иллюзии свободной жизни, полной приключений, в интересах Господ Охотников ограничить свое количество, каковое намечено в пределах ста. Опоздавшие будут допущены только в свою очередь, т. е. в соответствии с вакансиями, открывающимися после отъезжающих».

— Вы понимаете, — добавил Симон, обращаясь к своему семейству, — эта мера необходима. Иначе, «их» будет слишком много!

Я вам прочел только первый проспект, осведомительное письмо. Я вас освобождаю от второго документа, где я вхожу в мельчайшие подробности и который разошлю только тем, кто о том попросит, серьезным клиентам. Потому что, помимо всего дру-

гого, пришлось, например, предусмотреть случай, когда охотник захочет пробыть полтора месяца, два и т. д., и установить соответственные цифры. Ко второму проспекту будет приложен подписной бланк. Сейчас у нас середина февраля, я думаю пустить дело в ход к сентябрю.

А теперь, что вы об этом думаете, мои дорогие? Кажется, на этот раз мы поймали госпожу Удачу.

Развалившись в кресле, он откинул голову, словно приговариваясь встретить всеобщее восхищение.

Чтобы быть точным, то было скорее недоумение. Все оторопело переглядывались. Никто не узнавал озера Фатимы под этим чудовищным убранством, ни Поль и Алексис, которые только слышали его смутное описание из уст родственника, ни Паскаль, который видел его своими глазами. Эта особенность несколько его смущала. Правда, он помнил, что видел большое количество животных, когда охотился в этой области, но все же не в таком обилии. Он заметил, впрочем, без особой уверенности:

— Я что-то не встречал нарвала в Алжире.

На что его брат ответил:

— Надо понимать мое объявление не как курс естественной истории, а как в некотором смысле синтетическую картину удовольствий, которых может ожидать подписчик. Но, я спрашиваю тебя, что может быть привлекательнее этого животного, которого никто никогда не видел? И к тому же, будь уверен, они его увидят...

Дети мои, — закончил он, — есть обычай совершать возлияние, когда первый камень здания положен. Я считаю, что этот доклад, эти проспекты и выполнение этой обширной афиши являются первым камнем моего предприятия и даже более. Я хочу,

чтобы мы отпраздновали вместе этот великий день. Сейчас ровно десять часов вечера, 12 февраля. Запомните эту дату: это начало эры моего богатства. Катарина, дайте бокалы, спуститесь в погреб и достаньте бутылку шампанского...

Ломбардцы часто бывают реалистами, несмотря на таинственность их улыбки. Катарина, не найдя в погребе шампанского, а только бутылку белого тунисского вина, притом последнюю, сочла нужным объяснить по поводу этой замены. Г. де Торвиль оборвал ее на первом слове, пожимая плечами. Выпили за процветание Общества. Что значит сама влага? Была бы чаша! Не вино, а бокал—означает радость, праздник, торжество. Симон ликовал. Алексис разделял его энтузиазм, как хороший сын, гордящийся отцом; Поль, которая видывала уже подобные виды, но не разочаровывалась, улыбалась благожелательно; Паскаль вспоминал бутылку, которую также распили в день, когда было пущено в ход предприятие, теперь заглухшее, с искусственным мраком. Но то было *Asti spumante*, и пили его из узких бокалов. Ничто в мировой истории не повторяется точно дважды.

ГЛАВА VIII,

КАК ПРИЖИМИСТЫЙ Г. СЕРБЕК СОГЛАСИЛСЯ ОХОТИТЬСЯ НА УТКОНОСА И НАРВАЛА.

Таковы были авторитет, обаяние, увлекательная убедительность г. де Торвиля, что в течение всего памятного вечера, когда он излагал свой широкий

проект, никому не пришло в голову задать ему вопрос, совсем маленький вопрос:

— Но, послушайте, вы говорите об озере, как будто вы там дома. Вы собираетесь его купить?

Не подумайте, однако, что он, который все предвидел, упустил эту подробность. Напротив, он думал об этом, и это даже оказалось самой серьезной из его забот, самым трудно разрешимым местом задачи. Действительно, если вы не забыли рассказ Паскаля, вы помните, что озеро сторожил некий Си-Бу-Бекр и что этот араб был представителем действительного владельца—г. Сербека. А г. де Торвиль имел весьма серьезные основания не встречаться лицом к лицу с г. Сербеком. О, не потому, что он не выплатил ему всей стоимости залежей фосфата. Какое значение имели сейчас эти залежи? Содержали ли они даже вообще драгоценный осадок, за который Симон обязался выплатить пятнадцать тысяч луи? В данный момент, он откладывал всякую проверку. Позднее, он всегда успеет убедиться, не наврал ли старый негодяй. Нет, истинная причина, заставлявшая Симона колебаться, заключалась в том, что, жадный по природе, г. Сербек, который (чудом, очевидно, вызванным личным вмешательством ангела-хранителя великих предприятий) не знал сказочной ценности своего озера, сейчас бы сообразил, в чем дело, если бы тот же человек, что купил его камушки, явился бы для приобретения его водного пространства. И тогда, каковы были бы его требования! Потрясающие, баснословные, вне всякого сомнения.

Надо было быть осторожным, необычайно осторожным, пустить в ход почти демоническую дипломатию... Переодеться? Взять чужое имя? Опасно. Нет, единственная возможная попытка—это заклю-

чить сделку через третье лицо. И это третье лицо... это третье лицо... было не кем иным, как г. Констан-
тенон Ззомпсом, хозяином сирены.

Я не удивлю никого из тех, кому знакомы психологические тайны разработки великих проектов, если я им открою, что это предназначение г. Ззомпса возникло гораздо раньше того мгновения, когда г. де Торвиль, руководимый просто логикой, сказал себе: «Мне нужно подставное лицо». Ибо в действительности, с самой своей встречи с ним во дворце сирены, он предугадал услуги, которые призван был оказать ему доктор-грек... Особенно эта непринужденность в перемене тона, костюма!.. Казалось, он менял одну личность на другую. Ценная способность! С первого же взгляда Симон решил, на что может пригодиться ему этот человек. И если он не взял его с собой сразу же, то только потому, что хотел привести в порядок свои мысли, прежде чем объяснять их другому, а также для того, чтоб этот помощник не счел себя совершенно незаменимым. Кто только не склонен к гордыне!

Как бы там ни было, но девятого февраля Симон и г. Ззомпс имели серьезнейшее и даже секретнейшее свидание. Миссолонгский доктор, замкнув свою воспитанницу на ключ, в обществе морского сухаря и дюжины свежих сардинок, явился завтракать к своему новому другу и оказался блестящим, легким, любезным, очаровательным собеседником. Потом, запертый в кабинете г. де Торвиля, он внимал с полнейшей почтительностью и чудесной понятливостью тонким расчетам, в которые его посвящал хозяин дома. Все это происходило шепотом и в такой тайне, что никто бы не смог ничего уловить, даже прижав ухо к замочной скважине. Но четыре дня спустя

(то-есть на следующий день после закладки первого камня) г. Константен Ззомпс явился на квартиру к г. Сербеку и пожелал его видеть «по спешному делу».

Г. Сербек занимал маленькое помещение в четвертом этаже на улице Вагон, где он устроил свою квартиру и свою контору, состоявшую из зеленого кабинета бильярдного цвета с двумя окнами на улицу, без занавесок и с тусклыми стеклами, из приемной, получавшей далекий отсвет со двора через слуховое окошечко с гильотиной, шириной с голову осужденных, которые ждали здесь своей очереди предстать перед судьей, и наконец, из совершенно темного угла, где прозябало за десять франков в месяц существо, бледное, как лист цикория, выросшего в погребке, исполняющее роль докладчика, а при нужде секретаря и рассыльного.

Огонь в каминах, портьеры на окнах и дверях, мебель, картины, все это рассматривалось, как предметы роскоши, то-есть совершенно лишние и потому изгнанные из этого мрачного места, куда вела дверь, украшенная медной доской с надписью:

КОМИССИОННАЯ КОНТОРА.

Если вы меня спросите, что за дела вел господин, помещающийся в этой конторе, я вам отвечу, что не имею понятия. И никто не имел понятия. Ибо как определить эти загадочные обороты, которые, как современная мораль, не обладали ни внутренней, ни внешней обязательностью (для него, по крайней мере)?.. У него никогда не бывало денег, никогда, — но он доставал их, однако, для тех, кто испытывал в них острую нужду и мог оставить в залог драгоценности, дивидендные бумаги, старинные безделушки...

Куда девались эти вещи, о которых никто никогда больше не слышал? Не становились ли они посредством таинственного превращения чем-нибудь еще более основательным, до некоторой степени более недвижимым, как эти залежи фосфата, которые, будучи перепроданы другому..? И так далее до бесконечности. Тайна тяготела над жизнью г. Бертрана Сербека, и те, кто приближался к нему, не имели страшного мужества в нее проникнуть. Они предпочитали всему тихое, успокоительное неведение...

Когда бледная личинка из беззаконного угла доложила о г. Константене Зомпсе, г. Сербек, работа которого заключалась в том, что он точил на углу стола старый карандаш, заставил его ждать полчаса, сам скучал не менее, но он следовал своему принципу, рассматривая каждого посетителя, как врага, которого важно деморализовать утомлением. Но г. Зомпс не так-то легко было сбить с толку. После получасового «маринования» он вошел такой стройный, такой свежий, с такими шикарными усами, как будто прямо от парикмахера. И с первых же слов ошеломил г. Сербека.

— Милостивый государь,—сказал доктор-грек, сев и вращая глазами одновременно и ласково, и грозно,—я не буду говорить обиняками и сразу же приступлю к сущности дела. Думаете ли вы продать принадлежащее вам озеро Фатиму в кредит или на наличные?

— Осторожнее, осторожнее! — воскликнул г. Сербек, готовясь излить поток красноречия из уважения к ораторским обычаям, недостойно нарушенным этим вступлением *ex abrupto*.

— Потому что,—продолжал г. Зомпс невозмутимо,—в том случае, если вы хотите продать на

наличные, мы не сойдемся. Тогда, так как я не люблю долгих разговоров и не могу тратить ни минуты, я не стану вас задерживать.

— Позвольте, позвольте...

— Значит, я остаюсь. Так как иначе, не правда ли? вы бы сказали: «Я вас не задерживаю, мое озеро продается на наличные». Но оно продается в кредит, и мы беседуем... Сколько в год?

— Но, милостивый государь, прямо так, с плеча!.. Это не моя система.

— Это система доктора Константена Зомпса, и я вас уверяю, что она превосходна. Вы понимаете, что если я явился к вам с проектом, который выработал сам, чтобы не затруднять этим вас, то не для того, чтобы терять время на запутанные объяснения. Я спрашиваю: «Сколько в год?»,—только чтоб узнать разницу, существующую между нашими расценками, чтоб иметь точку опоры.

— Но, милостивый государь, я...

— Да, это так. Я констатирую, что «Но, милостивый государь» — единственный аргумент, который вы употребляете в деловых спорах. Вот почему я думаю, что окажу вам услугу, объявив максимальную цену, что окажу вам услугу, объявив максимальную цену, вы понимаете, цену *pe varietur*, за которую я хочу купить ваше озеро. Сто тысяч франков.

Нельзя сказать про г. Сербека, что он подпрыгнул. Его беспозвоночная природа возбранила ему подобную несдержанность. Но какая-то волна пробежала по нему, и несколько мгновений он был похож на боа, который не может покончить с бараном, застрявшим у него в пищеводе. Из стыдливости г. Зомпс отвел глаза.

Удар, нанесенный г. Сербеку, был действительно ужасен. Ему предлагали сто тысяч франков за вла-

дение, которое он приобрел однажды у доведенного до крайности туземца за пятнадцать тысяч и которое, без всякого сомнения, не имело никаких оснований хоть сколько-нибудь возрасти в цене за этот промежуток времени. Ведь если сами вы привыкли добиваться, с помощью хитрости и терпения, выгод подчас ничтожных и кто-то вдруг, ни с того ни с сего, предлагает вам такие значительные барыши, есть от чего оторопеть. Ни за что нельзя было упустить этого простака. И все же, прежде всего, приходилось спорить «принципиально».

— О, сто тысяч франков,—произнес он, как только окончательно проглотил барана. (И его улыбка сделалась отвратительно горькой).— Сто тысяч франков! Не хотите же вы...

— А вы, что хотите вы?

— Мне совершенно невозможно расстаться с этим именем, которым я очень дорожу,—вздыхнул тот,—меньше чем за двести тысяч.

— Что же вы не сказали этого сразу? Мы бы выиграли пять минут времени. Раз уж я решил сбавлять на половину, так же, как вы запрашивать вдвое... Разделим грушу пополам! Сто пятьдесят тысяч, и на этот раз бесповоротно.

— Но, милостивый государь...

— Клянусь Юпитером! Что за скучная формула! Я продолжаю. Сто пятьдесят тысяч, выплачиваемые по двадцать пять тысяч в год. В шесть лет мы покончим с этим делом. Вот запродажная, в которую, как видите, я вставляю на пустые места вышеуказанные цифры. Пожалуйста. Предупреждаю, что я не потерплю в ней никаких изменений.

— Но, милостивый государь, еще раз, кто вы такой?

— Боже мой! у меня нет оснований скрывать это от вас. Да к тому же вы уже наверное догадались сами. Вам ясно, что частное лицо, живущее в Марселе, не станет покупать озеро в Бонской области только ради приятного сознания, что оно им обладает. Я действую от имени очень могущественного общества: «Акционерное общество алжирских охот». Мы хотим организовать охоты в указанной области: мы скупаем земельные участки.

— Но откуда вы знаете?..

— Что именно этот принадлежал вам? Должен вам сказать, что Общество содержит тут и там, от Марокко до Киренаики, множество агентов, к которым принадлежу и я. Путешествуя, видишь немало. Да, чуть не забыл одну подробность... Мне поручено предложить вам в виде бесплатного дополнения (если мы придем к соглашению) вот эту бумажку и все связанные с нею преимущества.

На этой бумажке г. Сербек прочел не без удивления, что за тысячу двести франков, внесенных им (а он как раз их не вносил... какова выгода!), он будет иметь бесплатное помещение и стол, будет доставлен в земной рай и т. д. Нет надобности повторять параграфы этой удивительной программы. Но это его убедило. Полный радости при мысли жить целый месяц без затрат и охотиться на равных с другими условиях, полный удовлетворения при мысли зарабатывать двадцать пять тысяч франков в год, ничем не рискуя, полный презрения к неизвестным членам этого акционерного общества, которое действовало с такой доверчивостью и бросалось в обширные предприятия вместо того, чтобы просто и мило придерживаться единственной нормальной финансовой операции, состоящей, как известно, в ростовщичестве, он подпи-

сал и условился о встрече на будущей неделе у нотариуса.

Когда г. де Торвиль узнал, с какой быстротой г. Зомпс отвоевал озеро Фатиму, он так обрадовался, что чуть не бросился ему на шею.

— Вы—мой друг,—сказал он,—и я собираюсь связать вашу судьбу с моей. Отныне вам не придется заботиться ни о чем. Ваш прибор за моим столом, и вы можете являться в мой дом, когда вам заблагорассудится. Что касается г. Сербека, он узнает о том, с кем имел дело, только тогда, когда «Акционерное общество алжирских охот» станет тем, что оно есть в действительности: «Обществом Торвиль и К^о». Сто пятьдесят тысяч франков! И он думал, что надул вас! Смеется тот, кто смеется последним!

ГЛАВА IX,

В КОТОРОЙ ДЛЯ Г. МАРИЮСА ФЮМАДА ЗАГОРАЕТСЯ
ЗАРЯ СЧАСТЬЯ.

С тех пор г. Константен Зомпс стал обычным гостем г. де Торвиля, к великому возмущению доброй Катарины, которая считала абсолютно неверной поговорку, по которой там, где есть на пятерых, хватит и на шестого. Она уносила на кухню блюда настолько более легкими, чем раньше, что испускала вздохи, которые иногда переходили в рыдания. Таким образом исчезала ее последняя надежда снова нагулять потерянный жир. За исключением этого неведомого противника, обреченного на бессилие в глубине

своей кухни, г. Зомпс насчитывал в семействе Торвилей только друзей. Своими абракадабрскими рассказами из области охоты, любви, войны, азартных игр он заставлял улыбаться Поль. Он приносил юному Алексису забавные, ничего не стоящие игрушки, сделанные из ореховой скорлупы, из кусочков картона, из каштанов и веревок; он сопровождал Паскаля (Паскаля, страдающего кочевой манией) в его пешеходных экскурсиях к Мадрагу и Эстаку¹⁾. Однажды в Эстаблоне, они вдвоем достали из гнезда орленка и, не зная, что с ним делать, обменяли его у местного трактирщика на отличный завтрак, состоявший из ухи и кролика, приготовленного à la chasseur. Алексис был призван к великой чести их сопровождать и еще больше, чем душистое пиршество в беседке из сухих сосновых веток, он должен был помнить великолепное зрелище, открывшееся его глазам, когда, выйдя из длинного ущелья на маленький серо-зеленый каланкский пляж, зажатый между двумя гранитными стенами, он очутился у моря, черного, холодного, прозрачного, как в северной легенде, у его ног, а вдали сверкающего на солнце невероятным синим блеском до самого края узкой мраморной черты, Марселя, похожего на белое видение из Тысячи и одной ночи.

Короче, Константен быстро сумел стать необходимым. Через несколько дней Симон объявлял всем и каждому, что никогда не знал более умного и более преданного человека, чем г. Зомпс, несмотря на его мушиное имя. Он брал его всюду с собой, в частности в кафе, где он имел привычку назначать свидания и заниматься своей корреспонденцией. Чудесные мар-

¹⁾ В окрестностях Марселя. (Прим. перев.).

сельские кафе, раззолоченные сверху до низу, где столько голых женщин, таких жирных, и столько аканфовых листьев, таких широких, распускается повсюду: над вешалками, колоннами, скамейками; чудесные марсельские кафе, где так хорошо существовать, забыв о векселях и сроках уплаты,—как часто вы оглашались беседою г. Торвиля и его друга, покровителей Алжира!

Г. Зомпс жил припеваючи. Он не имел у Симона определенного положения: ни секретарь, ни служащий, ни сотрудник, он был «гость», со всем тем, что заключается выгодного и приятного в этом слове. Он сам нашел для своего определения чудесное выражение, не подозревая о том, насколько оно гениально. Он сказал своему покровителю в минуту излияния: «Я ваша нравственная опора». И Симон, в восторге, энергично на него опирался.

Чтоб подчеркнуть решительным и до некоторой степени символическим поступком свой разрыв с прошлым, он ликвидировал сирену.

Это было не легкое дело. Все, кому он предлагал легендарное существо, не только оставались бесчувственными к чести обладания такой исключительной вещью, но отказывались с крайней резкостью, а иногда и с оскорбительным хохотом. Рантье с улицы д'Арколь, греческий консул (призванный оказать услугу своему соотечественнику), импрессарио странствующего зверинца и даже директор Зоологического Сада поочередно отклонили предложение г. Зомпса. Наконец, после долгих поисков, последний открыл на площади д'Э знакомого нам антиквара, который, соблазненный необычайностью приобретения, но не имея возможности оплатить ее целиком звонким металлом, купил ее при помощи сложной комбинации: луи мел-

кими деньгами, блюдечко римских монет, маленький буфет стиля Луи-Филиппа, стол белого дерева, кресло, пострадавшее от дождя. Эти разнородные предметы стали началом обстановки г. Константена Зомпса, который, наконец, отряхнул от своих сапог прах мебелированных комнат и познал сладость собственного дома.

И так как Алексис, который выказывал себя юношей довольно сентиментальным, был, повидимому, опечален новым изгнанием Калипсо, г. де Торвиль, чтоб его утешить, сказал ему однажды:

— Дитя мое, эта сирена была легендарным животным, но тем не менее только животным. Утешься. И чтобы помочь тебе утешиться, я расскажу тебе чудесную историю. Жил-был однажды под триумфальной аркой бедный учитель...

Алексис слушал с тяжелым сердцем, готовый расплакаться.

— Он не слишком хорошо играл на скрипке, но достаточно, чтоб зарабатывать сорок су в неделю, давая уроки мальчику, который не имел ни малейших, ну, что называется, ни малейших способностей.

— О, папа, что ты хочешь сказать?

— Я хочу сказать, что завтра четверг и, значит, ты свободен. Ты отправишься на площадь д'Э, станешь искать магазин г. Фюмада и, когда его найдешь, то обязательно увидишь на пороге самого владельца, которому дословно скажешь следующее: «Г. Фюмад, мой отец хочет с вами поговорить. Ему нужно сообщить вам нечто очень важное и что, мне кажется, доставит вам удовольствие».

— О, папа, ты хочешь ему заплатить?

— Как заплатить? Разве ему не заплачено?

— Да нет же, папа. Ему должны за два месяца уроков...

Г. де Торвиль упал с облаков:

— Это всегда так,—закончил он,—когда я сам не позабочусь о чем-нибудь!.. Бедный г. Фюмад! Правда, он ничего не потерял от ожидания, и в конце концов ему везет. Сходи за ним и приведи его сам.

Алексис без труда нашел несчастного артиста под фантастическим кровом, который он себе избрал. Он лежал среди множества металлических и деревянных отбросов, сам как отброс из плоти и сукна, тонкий, мягкий, легкий, отрепье, оживленное бессмертной, немного сонной душой. Он сейчас же узнал своего бывшего ученика и почтительно поднялся перед ним.

— Вы пришли что-нибудь купить? — спросил он, правда, почти машинально. — У меня есть несколько случайных вещей: пара подсвечников стиля ампир, хороший новый половик, маленькие часы с маятником сакс, а также скрипка, скрипка больших размеров, чем ваша: такая и нужна, неправда ли? если вы будете продолжать занятия с более выдающимся учителем.

— У меня никогда не будет другого учителя, кроме вас, — объявил мальчик с чувством... — Но я пришел не за скрипкой, — продолжал он. — Мой отец послал меня просить вас пойти со мною к нам: ему нужно сказать вам что-то важное.

Пораженный, взволнованный до последней степени, г. Мариус Фюмад приготовился сопровождать своего бывшего ученика, но тот, очень заинтересованный мыслью снова увидеть Калипсо, попросил разрешения поздороваться с ней.

— Ах, — вздохнул г. Фюмад, — у меня много хлопот с ней! Я встаю на два часа раньше, чем вставал

прежде, чтоб сходить к Плоским Камням набрать для нее свежей морской воды. Только, несмотря на эту лишнюю работу, я привык к ней и думаю, что мне было бы тяжело ее продать.

Он поднял маленькую занавеску, которая скрывала ее присутствие от нескромных прохожих. И Алексис увидел ее, спящей на дне лоханки; ее определенно невыразительная физиономия ничем не изобличала ее чувств. Он предложил ей бисквит, и г. Фюмад, поручив семилетнему мальчугану, дрожавшему от холода поблизости, охранять магазин в его отсутствие за двадцать сантимов, которые он обещал уплатить по возвращении, отправился с Алексисом.

Г. де Торвиль встретил его с растроганной напыщенностью:

— Дорогой г. Фюмад! — воскликнул он. — Вы, должно быть, часто думали обо мне: «Неблагодарный!»

— Я, — защищался учитель в ужасе, — я никогда...

— Нет, но вы должны были так думать. Видимость заставляла вас так думать. Но это была только видимость. Ибо я никогда не переставал думать о вас и о способах зажечь для вас зарю общественного воздаяния. Я уж не говорю о страданиях, которые вы, как музыкант, должны были претерпевать, когда вы пытались, с героическим терпением, воспитать безнадежно фальшивое ухо и вялую от природы руку моего бедного Алексиса. Я думаю о более тяжелом разочаровании. Г. Фюмад, когда по причинам, которые ваш жизненный опыт должен был помочь вам угадать, мне пришлось расстаться с вами, у меня разрывалось сердце. Увы, это было необходимо! Но никогда с тех пор я не провел дня без того, чтоб не искать в душе компенсации для вас. Сегодня я ее нашел.

Г. Фюмад дрожал от волнения.

— Я намекаю не на жалование, которое осталось неуплаченным. То, что я выдумал для вас, превосходит в тысячу раз такое жалкое удовлетворение. Вы увидите сами. Но сперва, г. Фюмад, ответьте на мой вопрос: способны ли вы изменить ваше существование, я хочу сказать, начать заново жизнь на совершенно иных началах, чем те, на которых вы ее строили до сих пор?

— Г. де Торвиль, признаюсь, я не верю своим ушам. Хотите ли вы этим спросить — склонен ли я покинуть деятельность антиквара?

— Вот именно. Или это вам так неприятно?

— Мне неприятно? Да это моя мечта, г. де Торвиль; не надо смеяться надо мной.

— Смеяться! Неужели вы воображаете, что у меня есть досуг заниматься такой игрой? Нет, конечно. И мое предложение самое серьезное. Я только что организовал в Алжире крупное предприятие. Хотя оно еще не вступило на путь осуществления, тем не менее уже имеется место для доверенного лица: легкое, приятное, доходное сейчас и блестящее в будущем, место, которое я имею удовольствие вам предложить.

— Объяснитесь, г. де Торвиль, скажите, что я должен делать. Если б я должен был броситься в огонь за вас...

— Я не прошу так много, мой дорогой г. Фюмад, ваше жареное мясо не пригодилось бы мне. В нескольких словах, дело в следующем.

И Симон счел долгом объяснить бывшему учителю своего сына в общих чертах затею с охотами на озере Фатиме и чудесное будущее этого предприятия. Не без некоторого самолюбия художника и

писателя, он показал ему великолепный плакат с бесчисленными животными, прочел ему первый prospect, а заодно и второй, а также список членов Правления (влиятельных лиц, присутствия которых, к счастью, никогда не требуется) и устав Общества, состоящий из тридцати четырех статей, предусматривающих более или менее все, что может произойти в акционерном предприятии. Г. Фюмад смотрел и слушал, видимо ослепленный. Он впервые был допущен к близкому созерцанию механизма большого дела и рассматривал его создателя почтительно, как полу-бога.

— Это откровение,—повторял он,—истинное откровение... Но какова может быть здесь моя роль? Я не охотник и не думаю, чтобы вы захотели вписать мое скромное имя рядом с именем его величества короля Араукании, о существовании которого, кстати, я не знал.

— Рано или поздно вы о нем узнаете. Но вопрос не в этом. Нужен кто-нибудь, кто бы охранял озеро Фатиму, защищал его охотничьи богатства от всякого рода браконьеров, подстерегающих волшебную добычу, наблюдал за постройкой гостиницы, планы которой мой брат передаст вам перед отъездом, наконец, встречал первых подписчиков, так как, не сомневайтесь, найдутся такие, которые не захотят ждать официального открытия и постараются предупредить других, чтобы присутствовать на генеральной репетиции этого великого зрелища природы. Хотите быть этим «кем-нибудь?»

— Ах, я не знаю, подготовлен ли я в достаточной степени своими прошлыми профессиями (я был последовательно: репетитором в провинциальном лицее, редактором одного эфемерного журнала, который

вел избирательную политику, бумажным фабрикантом, продавцом удочек, фонащиком и, несмотря на все—увы! а может быть и к счастью—всегда философом) к щекотливым обязанностям, которых вы меня великодушно считаете достойным. Но моя добрая воля...

— Заменит практику, которой вам не хватает, я совершенно в этом уверен... Будьте добры сами назначить размер вашего жалования, мой дорогой сотрудник. Само собой разумеется, что вы получаете помещение (временное в доме Си-Бу-Бекра, которого я выгоню: это ставленник прежнего владельца, и потому я должен его остерегаться); вы получаете помещение и будете избавлены от всех путевых расходов.

— В таком случае, сто пятьдесят франков в месяц не покажутся вам...

— Я полагаю, вы смеетесь, г. Фюмад...

— Вы думаете, это слишком? О, я клянусь, что назвал цифру, не подумав... Я удовлетворюсь...

— Вы хотите, чтобы Общество Торвиль платило сто пятьдесят франков своему доверенному, своей правой руке? Неужели долгая привычка к торговле редкостями так ослабила в вас представление о действительности? Первые месяцы вы будете получать триста франков, в виде опыта. А как только охота действительно начнется, то пятьсот франков. В следующие годы мы постараемся набавлять, смотря по обстоятельствам.

У г. Фюмада подкосились ноги, и белые усы его задрожали. Он должен был вцепиться в кресло.

— Вы можете рассчитывать на мою вечную преданность,—пробормотал он, как только смог выдать голос из своего сжавшегося горла.

— В таком случае,—сказал Симон,—придется начать сейчас же. Сегодня первое марта, пассажирский пароход отходит шестого вечером. Я уже занял место (настолько я был уверен в вашей согласии). Будете вы готовы?

— Мне хватит двух дней, чтобы распродать свой хлам, а в остальное время я успею закупить на вырученные деньги необходимые мелочи: именно рубашки. Отсутствие белья трудней всего переносить в том, что принято называть бедностью... Не будете ли вы добры также составить мне список того, что необходимо захватить в эти экзотические страны... Может быть, бурнус...

— Мой брат скажет это вам лучше, чем я.

— Одно меня смущает. У меня есть сирена.

— Знаю, которую вам недавно продал г. Константен Эзомпс. Хорошо, никто не скажет, что это невинное животное одно страдает при столь счастливых обстоятельствах; тем более, что встреча с ней была отправной точкой всего проекта. Провидение поставило ее на моем пути. Я ее усыновляю. Она будет жить в моем доме. У нас нет животных, кроме морской свинки, вполне безобидной и глуповатой. Таким образом она будет счастлива в этой квартире, насколько ей это позволит ее морская и независимая натура. Будьте добры на-днях доставить сюда ее лоханку... А теперь, мой дорогой г. Фюмад, теперь, когда мы окончательно пришли к соглашению, разрешите мне вас покинуть, так как у меня масса работы, и поручить вас моему брату, г. Паскалю де Торвилю, известному архитектору; он даст вам планы «Palac'a», который вам будет поручено построить, а также все нужные объяснения...

Сказано—сделано. Будущий хранитель озера имел длительное свидание с Паскалем, после которого последний, оборвав по своей привычке прощальные минуты, всегда тяжелые для чувствительности его близких, уехал, без шума и почти секретно, в Сирию. Затем г. Фюмад велел перенести Калипсо на квартиру г. Торвиля, не забыв подробно описать Катерине, на этот раз раздавленной отчаянием, особенности режима этой новой пансионерки; продал сотоварищу все, чем обладал, за умеренную сумму в четьреста франков, половина которой пошла на покупку предметов туалета; и шестого марта, в пять часов вечера, отправился в обществе Торвилей и г. Зюмпса на «Мажестик», скромный пароход «Транспортного Общества». Кроме крупного багажа и чемодана, он вез с собой лопату, складную палатку, волшебный фонарь, погребец, свою скрипку и несколько коробок консервов, не забыв также аппарат для фильтрации нечистых вод. На нем был новый сюртук, суровая строгость которого не вполне соответствовала мальчишеской элегантности его обмоток исследователя и мужественному виду его колониального шлема. И так как никто, даже он сам, не знал, куда он едет, это сообщало его путешествию что-то таинственное, совсем как будто он отправлялся открывать земли, еще не отмеченные на карте. После махания платками, рукопожатий, сердечных слов, советов и патетической речи г. Торвиля, пароход отошел от пристани с величественной медлительностью, унося к его новой судьбе самого милого учителя музыки.

ГЛАВА X, В КОТОРОЙ ВЫСТУПАЕТ УЛЫБАЮЩИЙСЯ АББАТ МАТИАС ЖУРДИН.

Мадам де Торвиль испытывала по отношению к религии такое уважение, что никогда не могла смотреть на ее представителей, как на простых людей. Даже вне их служения она видела в них священных существ, сохраняющих вокруг себя отсвет того мистического сияния, среди которого они появляются в лучезарной славе богослужения, под своей золотой мантией, среди густых струй ладана, когда воздух полон магического шепота латинских слов.

Аббат Матиас Журдин выгадывал от этого преобразования, и, кажется, Поль никогда не видела его таким, каким он был на самом деле, с его толстым, одутловатым лицом цвета топленого свиного сала, жирными губами, выпученными глазами и длинной плоской губой. Он скорее походил на священника, вырезанного из каштана, чем на настоящего священника, но даже это безобразие казалось его поклоннице достоинством, она видела в нем высшее доказательство его священнической воздержности и считала его аскетическим деянием. Ее деверь, записной атеист и насмешник, говорил ей часто: «Вы, наверное, думаете, что эта обезьяна могла бы быть красивой и отказалась от этого, чтоб не привлекать внимания!» Поставленный так вопрос смущал ее, потому что слишком грубо и точно определял немного смутную, но все же явную истину.

Аббат Журдин относился бережно к своему обаянию и поэтому, несмотря на фамильярность манер,

был в достаточной степени сдержан со своей прихожанкой. Хотя мадам де Торвиль множество раз подтверждала ему, что ему рады в доме на улице Респубрики, он не так уж часто приходил сыграть партию в лото, особенно во время наездов этого нехристя Паскаля. И его давно уже не видели там, когда в один прекрасный день, в конце марта, недели через три после отъезда г. Фюмада в Африку, он появился в гостиной с двенадцатью каминами.

Мадам де Торвиль бросилась к нему, заискивающая и смущенная.

— Нет, не надо меня упрекать за редкие посещения, уверяю вас. Если б я действовал согласно моей склонности, вы бы видели меня здесь гораздо чаще. Но вам, наверное, не трудно угадать занятия, которые поглощают все мое время...

— Конечно, г. аббат, ваши бедные, ваши дела, службы, больные, которые призывают вас по ночам...

— Судите сами, как мало мне остается досуга. Настолько, например, что единственное маленькое развлечение, которое я себе позволяю, и такое невинное, не правда ли?—акварель, и то вот уже три месяца, как...

— Неужели? У вас в этой области такое изящное дарование!..

— Не будем говорить об этом, пожалуйста. Тем более, что это будет похоже на то, будто я жалуюсь, а у меня и в мыслях этого нет. Я говорю вам все это, чтоб вы знали истинные причины моего долгого отсутствия... Но я, как настоящий эгоист, говорю вам только о себе и забываю спросить о вашем здоровье...

— Я буду прозябать еще сто лет, говорит доктор.

— Это не хуже, чем прожить тридцать, меча гром и молнию, как... как... химера...

И аббат Журдин рассмеялся долгим смехом своей мифологической находке. Потом продолжал более серьезно:

— Во-первых, я имел сведения о вас от мадам Вусюр. Она мне говорила, что вы по-прежнему живете потихоньку, полегоньку, что г. де Торвиль намерен повести дела в более крупном размере (что меня очень порадовало) и что у вас имеется замечательная водяная пансионерка. Так ли это?

— Совершенно верно, и вы даже слышите ее как раз. Она иногда жалуется, вероятно, на свою неволю.

И, действительно, в это самое мгновение Калипсо испускала низкий и долгий стон, который был свойственен исключительно ей.

— Неужели, — воскликнул аббат Журдин, сложив руки, — неужели это то самое животное, о котором Гомер говорит в Одиссее и которое так сладко пело? Говорят, чтобы достигнуть этих чарующих нимф, кидались в воду. Может быть, это делали, чтоб больше их не слышать...

Он снова рассмеялся этой остроте. Мадам де Торвиль, чувствуя, как добрая католичка, что ей не подобает обладать существом, которое издает такой сильный запах язычества, рассказала в свою защиту, благодаря какому странному стечению обстоятельств сирена кончила тем, что обрушилась в ее будуар.

— Вы меня извините, — продолжал аббат, вдоволь навосхищавшись этой историей, — что я не прошу у вас разрешения сегодня же посмотреть на это любопытное животное. Уверяю вас, это только отсрочка, так как я не простил бы себе, если бы упустил воз-

возможность увидеть такую морскую редкость. Но сегодня, увы! у меня очень мало времени, а я не хотел бы оставить вас, не поговорив о добром деле, которое надо совершить на этот раз не по отношению к рыбе, а к доброй христианке. И, совершенно естественно, я подумал о вас.

— В чем дело, г. аббат? Я заранее всецело в вашем распоряжении.

— Дело касается женщины, которую вы хорошо знаете, так как часто ее видите, и таким образом вы имеете возможность оценить, насколько она достойна, благочестива, преданна. Просто образец женской добродетели согласно писанию. Но я вижу, что вы уже угадали: это мадам Вусюр.

— Конечно, если я могу что-нибудь для нее сделать...

— Вы уже делаете много, и я первый отдаю должное особой благодетельности вашего вмешательства в ее существование. Благодаря занятию, которое вы нашли для нее в вашем доме, мадам Вусюр может жить. Увы! не более.

— Вы пугаете меня, г. аббат, что вы хотите этим сказать?

— Я хочу сказать, что то, что вы ей платите и что, конечно, является максимумом того, на что имеет право рассчитывать поденная портниха, хоть и достаточно сейчас, все же не дает ей возможности подкормить кое-что к старости, которая (о, я знаю, что она кокетка, и даже мужественная кокетка, и что можно ее обидеть, открыв перед ее глазами такую перспективу)... которая рано или поздно наступит. И что же будет с ней тогда?

— ...

— Я добавлю, что она начинает уставать. Работу,

которую молодая девушка несет с улыбкой на устах, напевая песню, она выполняет со вздохом, с ужасным вздохом астмы. Чтоб спасти ее в настоящем и будущем, нужно, видите ли, одно из мест (которых все же не мало), где отдыхаешь, где голова работает больше, чем тело, в некотором роде — место за прилавком.

— Хотите, я поговорю с моим мужем?

— Нет, о, нет!.. У г. де Торвиля и так достаточно забот сейчас, чтобы подбавлять ему еще новую. Не будем ему надоедать. Тем более, что я, со своей стороны, кажется, нашел некоторый способ, который, к сожалению, не могу довести до конца один, но который с вашей помощью... Хотите выслушать меня?

— Я ловлю каждое ваше слово.

— Вот в чем дело. Мне указали несколько месяцев тому назад в Сент-Ориоле на ужасное положение, в котором находился один из моих дальних родственников (кузен по провансальской моде). Все его имущество заключалось в маленьком кафе на портовой набережной, то, что там называют «баром». Его кредиторы угрожали продажей этого кафе. Им бы это не принесло особенного барыша, а для него было бы полным разорением. Он обратился ко мне с мольбой. Я купил его кафе. Увы, положив на это все мои сбережения, я все же не уплатил настоящей цены, но, во всяком случае, мой бедный родственник смог на эти деньги попытать счастья в другой местности. И вот, без сантима денег, я являюсь владельцем учреждения, которое мой священный сан запрещает мне пустить в ход, по крайней мере, под своим именем.

— ...

— Но для почтенной особы, которая интересуется обоим, стать его заведывающей значило бы достигнуть абсолютно спокойного, поистине идеального

положения. Прекрасный климат, чистый воздух, насыщенный иодом, врывающийся волнами через двери, всегда широко раскрытые на залитую солнцем набережную,—что может быть здоровее для дамы уже солидного возраста, мечтающей о покое? Сидеть, улыбаться (мадам Вусюр достигла в этом совершенства), быть тактичной, такова несложная программа. Было бы грех, имея возможность оказать ей такую услугу, не сделать этого.

— ...?

— Главное препятствие в том, что из-за этой покупки, слишком обременительной для бедного кошелька викария Конкордата, я в настоящее время нахожусь совсем без средств. Мне совершенно невозможно сделать это доброе дело, которое здесь, под рукой, безотлагательное... Не хотите ли вы, дорогая мадам де Торвиль, вы, к которой, наверное, никто еще не обращался напрасно, не хотите ли вы помочь мне в этом добром деле?

— Конечно, я...

— Для того, чтоб мадам Вусюр могла исполнять обязанности заведывающей нашим маленьким кафе, надо это кафе открыть, а также снабдить припасами, так как после того, как мой несчастный кузен был вынужден продать почти все свои запасы крепких напитков, там почти не осталось товара. Я сделал подсчет. Мне кажется, что десять тысяч франков составили бы основательный фонд, достаточный для того, чтобы приобрести необходимое количество товаров хорошего качества и оплатить годовое жалованье мадам Вусюр и лакея. Барыши получатся немедленно. Конечно, бедный аббат далеко не в курсе таких вопросов, но я слышал, что торговля спиртными напитками одна из самых доходных.

— Ах, я знаю, чтобы убедить вас, мне не надо вам подчеркивать, что это доброе дело в то же время и добрая афера. (Иногда, по доброте своей, господь забавляется такого рода совместительствами). Я оставаюсь на этом только, чтоб успокоить вас насчет того, не рискуете ли вы своими деньгами, так как иначе, клянусь вам, я никак не позволил бы себе вас беспокоить.

— Десять тысяч франков!—сказала мадам де Торвиль с легким, очень легким страхом...—Они нужны сейчас?

— Чем скорее, тем лучше. Мы могли бы открыть его летом, в пору... в пору жажды!..—и аббат Журдин снова рассмеялся смехом, звучавшим бесконечным благоволением.

Мадам де Торвиль вздохнула, как тот, кто испытывает последнее сомнение перед тем, чтоб сдаться, и не смеет признаться в этом сомнении. Наконец, она решилась.

— Но вот что,—сказала она.—Вы знаете, может быть, что несколько дней тому назад я получила маленькое наследство от английской кузины, которую кстати я никогда не видела, и что это наследство я рассматриваю, как принадлежащее моему сыну. Я дала себе слово не прикасаться к нему, и даже мой муж, с которым у меня раздельное имущество, тоже обязался, каковы бы ни были нужды его предприятий, ничего у меня не просить для них.

На каждое из этих разоблачений аббат Журдин кивал головой с чисто священническим сокрушением сердца и как бы говоря—не то: «Как я польщен тем, что вы мне сообщаете вещи, которых я и подозревать не мог!», не то: «Да, да, конечно, я же все это

знаю. Разве иначе я бы совершил нескромность прибегнуть к вашей помощи? Только богатые могут давать взаймы.

— Отлично!—заклучил он.—Поверите ли вы мне, если я скажу вам, что и на это у меня есть ответ? Алексис—преlestное дитя, которое будет превосходным юношей. Я не сомневаюсь, что он употребит на добрые дела суммы, которые получит при совершеннолети. Но думаете ли вы исполнить свой долг тем, что передадите их ему только нетронутыми? Не лучше ли было бы их умножить?

— ..?

— Наше маленькое кафе, без всякого риска, может приносить шесть тысяч франков чистого дохода в год. Если мы будем считать, что вы и я, один—дающий помещение, другой—капитал, вносим равные доли, то нам придется поделить эти шесть тысяч франков, то-есть на каждого придется по три тысячи франков, то-есть, не вычисляя сложных процентов, получится приблизительно сорок тысяч франков прибавки к первоначальному капиталу г. Алексиса де Торвиля в день, когда ему исполнится двадцать один год. То-есть, если вы не будете обращать внимания на подробности и посмотрите на вещи с некоторой высоты, вы можете, как мать семейства, благодарить божественное провидение за его попечение об этом ребенке.

Голос аббата был бесконечно мягок, убедителен и полон неодолимой силы. Это был уже не аббат Матиас Журдин, Кармский викарий и случайный владелец бара в приморском городе; говорил уже не аббат Журдин, но посланник ангелов-хранителей семьи. Таинственное и священное совпадение! В то самое время, когда на Поль, немного испуганную такой

ответственностью, свалилась сумма денег, которую она должна была сохранять нетронутой, несмотря на все требования жизни, еще в течение двенадцати лет, являлся некто, кто предлагал ей способ увеличить ее почти сказочным образом, дав вместе с тем почтенной и усталой пожилой даме достойное ее и покойное занятие. Взволнованная, смущенная, благодарная, она не нашла других слов, как:

— Вы думаете, г. аббат, что этого, действительно, достаточно?

— Этого достаточно,—воскликнул аббат, простирая руку, полную клятв.

— Хорошо, я напишу моему нотариусу с просьбой продать сколько нужно бумаг, чтобы получить эти десять тысяч, и тотчас же направить деньги вам.

Тогда аббат Журдин, изображая жестом, будто желает броситься на колени, взял подол своей прихожанки и почтительно его поцеловал.

— Простите мое волнение,—воскликнул он.—Я слишком потрясен такой добровольной благотворительностью. Вы сильная женщина, я скажу больше, вы—святая.

— О, г. аббат...

— Ну, скажем, по меньшей мере, блаженная...

Он еще раз рассмеялся тем оптимистическим смехом, которым приветствовал все, что находил любопытного, будь то гениальные слова или каламбуры на пути своего собственного разговора. Потом он продолжал более положительным тоном:

— Излишне, не правда ли, говорить об этом вашему мужу? Мысль, что его может обидеть доверие, которое вы оказываете чужим предприятиям, а не его собственным, мне была бы так тяжела...

Мадам де Торвиль сделала знак, что она и ее нотариус будут молчать до могилы.

— А теперь позвольте мне удалиться. Я и так злоупотребил вашим временем. Как будет довольна эта бедная мадам Вусюр!.. Все-таки, каких радостей лишают себя люди, не делающие добра!.. О, вы слишком добры, благодарю вас. Коридор немного темный, но я найду дорогу.

ГЛАВА XI,

В КОТОРОЙ Г. МАРИЮС ФЮМАД И НЕСТОР-АЯКС
ДАЮТ ЗНАТЬ О СЕБЕ.

Тем временем г. де Торвиль не пребывал в бездействии. Совсем напротив. Он жил буквально в лихорадке, нагромождая письмо на письмо, доклад на доклад. Сроки векселей Сербека были еще слишком далеки, чтобы беспокоиться об них. Суммы, непосредственно нужные для отправки г. Фюмада в Африку и на кое-какие другие мелкие безотложные расходы, были оплачены Паскалем, который, сохранив немного денег от своего последнего архитектурного путешествия, поспешил таким образом отблагодарить брата за гостеприимство. Все остальное могло ждать. Катарина могла спустить еще тридцать килограммов запаса, прежде чем впасть в полное истощение. А поставщики знавали времена и потуже. Правда, от казначея училища, в котором Алексис вкушал плоды среднего образования, пришлось письменное напоминание по поводу неуплаты в срок, а портной прислал на дом связку счетов, самому старому из которых было уже восемь лет. Но зато типограф, печатавший проспект великого предприятия с озером, и гравер

картины, сделанной с оригинального плаката, о котором мы говорили, выказали чрезвычайную скромность. На горизонте не было видно ни одного судебного пристава. Таким образом, все обстояло благополучно.

Как бы довершая удовлетворенность Симона, в самый короткий срок, о каком он мог мечтать, пришло первое письмо от г. Мариюса Фюмада. Оно так его обрадовало, что он не мог устоять против желания прочесть его вечером, при лампе, своей семье, как лучший сюрприз, который он мог сделать своим в этот великолепный день первого апреля.

Дорогой г. де Торвиль,

Вы, вероятно, простили меня за то, что я не написал вам раньше, подумав, что мое письмо принесло бы вам тогда только презредевременные и ненужные сведения. То, что могло случиться с моей бедной особой, не представляет большого интереса, и с моей стороны было бы, может быть, даже нескромно занимать вас этим. Главное — само озеро Фатима, не правда ли? Вы увидите, впрочем, что оно чувствует себя великолепно.

Чтоб покончить вкратце с тем, что касается меня, скажу в двух словах, что мой переезд прошел в самых лучших условиях, если не считать прищипки морской болезни, который схватил меня в первые же полчаса и отпустил, только когда пароход вошел в Бонский порт... Таким образом, я не имел возможности ни созерцать вид моря (который был грандиозным, судя по словам моих товарищей по путешествию, более счастливый желудок которых устоял перед яростью волн), ни отведать паровой кухни, которая, по сло-

вам тех же пассажиров, была особенно замечательна. Я также мечтал сыграть ночью на палубе, при лунном свете, несколько вещей на скрипке. Но этому намерению воспрепятствовала буря... Я несколько не жалею на эти мелкие неприятности, так как судьба позволила мне доехать живым. Из-за легкого опоздания нашего парохода я пробыл в Боне только полдня и, прибыв в десять часов утра, выехал в тот же вечер, в пять часов. Надвигалась ночь, и таким образом я почти ничего не видел на всем пути, разве что на расвете, по дороге в Константину,—головокружительный Руммель. „Какая пропасть!—воскликнул я против воли,—и сколько людей не вернулось отсюда!“ Мне кажется, можно бы даже сказать: „Какой чорт вернулся бы отсюда?“ Я предоставляю вашей фантазии изобразить, в какую бездну мыслей повергло меня в свою очередь это величественное и ужасное видение. Я проснулся только в Крубе, где пересел в маленький поезд подъездной железной дороги, который довез меня до конечного пункта: жалкого местечка под названием Уаргла. Там я нашел араба, который за пять франков отвез меня и мой багаж на спине мула до берегов озера Фатимы.

Позднее я позволю себе представить вам обстоятельный доклад (в настоящее время я занят его обработкой), который вы будете добры изложить Правлению, о необходимости для Общества Торвилль:

во-первых, улучшить, совместно с железнодорожным обществом, обслуживание ветки Круб-Уаргла, которая, смею сказать, является последним словом неприемлемого, как с точки зре-

ния медленности (я думаю, километров десять в час), так и с точки зрения неудобства вагонов, которые, вероятно, восходят к царствованию Луи-Филиппа или в этом роде;

во-вторых, заменить мул моего араба или продолжением железной дороги, или дилижансом на шинах и, насколько возможно, хороших рессорах.

Но отложим это. Я спешу добраться до самого интересного места путешествия, до нашего озера. Ах, когда по гениальному вдохновению (почему не сказать этого?) вы соединили на вашем привлекательном плакате у берегов этого озера столько животных, странных и замечательных своей мастью, оперением или красотой пропорций, вы были едва на уровне истины. Я слишком несведущ в естественной истории, чтобы перечислить имена всех этих зверей: господа охотники разберутся в них. Вам довольно знать, что я был ошеломлен. Все, что летает, все, что бежит, все, что ползает, все, что плавает, казалось, назначило себе здесь свидание для улаживания взоров. И если бы мне было позволено высказать сожаление, я бы сказал, что очень грустно обрекать на бойню столько невинных тварей. Правда, они так многочисленны, что, мне кажется, нужны года для того, чтоб разрядить их хотя бы на десятую часть. Они образуют фактически неисчерпаемый запас, и (но это опять-таки мысль, которую я собираюсь развить вам позднее), может быть, найдется возможность организовать систематического размножение, нечто в роде ферм, где бы имелось чем населить местность, когда господа охотники, слишком многочисленные и слишком смертоносные, истребят всю дичь. Побочные продукты (перья,

шкур, чучела и т. п.), продаваемые на рынках Европы, прибавили бы значительные суммы к доходам предприятия. Это целый мир возможностей, открывающийся перед нашей инициативой...

... Вы знаете, я радикал и атеист, и тем не менее перед этим зрелищем я до некоторой степени понял, почему некоторые робкие умы, не смея допустить, что безличная и механическая природа способна осуществить нечто подобное, нуждаются в том, чтобы возложить главную ответственность на некоего господина в небесах, одаренного всеми совершенствами.. Что за урок терпимости этот вид на озеро Фатимы! Я не возблагодарил этого бога, в которого я не верю, но мысль моя полетела к вам, богу более человечному, который доставил мне этот досуг:

Deus nobis—haec otia fecit...

Но мне скоро пришлось оторваться от моего созерцания. Я слишком опасался быть внезапно настигнутым темнотой в этой великолепной, но пустынной местности; поэтому, обращаясь к своему проводнику и давая ему сто су:

— Сведите меня,—сказал я,—к дому, в котором живет г. Си-Бу-Бекр.

— Это мой дом,—ответил он мне (я избавляю вас от его странного сабира ¹⁾),—потому что Си-Бу-Бекр—это я.

Я упал с облаков. Близ озера (теперь я это заметил) не было ни дома, кроме дома Си-Бу-

Бекра, ни чьей-либо особы, кроме особы Си-Бу-Бекра. Я мужественно сжег свои корабли.

— Я очень жалею, приятель,—сказал я ему,—но ваш хозяин, г. Сербек, продал свои владения Обществу, представителем которого я являюсь, и отныне я буду жить в вашем доме. Впрочем, вот бумаги, которые устанавливают наши права, если вы сомневаетесь...

— Не нужно твоих бумаг,—ответил тот, расхохотавшись хохотом, который ухитрился быть одновременно сардоническим и приветливым,—ты можешь положить их обратно в карман. Я всегда жил на берегу озера Фатимы, и у меня было два хозяина до Сиди Сербека, да уничтожит его аллах. Все они хотели выгнать меня, и всем я показывал вот эту дубину, которая может одним махом переломать ребра шакалу. Тогда я становился их другом и их управителем.

Одним взглядом я оценил положение и понял разницу между нравами Европы и Алжира. Кроме того, я сказал себе: „Если я доведу до крайности этого человека, он способен создать для нас затруднения, сперва с г. Сербеком, с которым мы еще не покончили, потом (что было бы серьезнее) с охотниками. Он может вредить нам неисчислимыми способами. Тогда как, сделав из него друга, я кругом выиграю: он не только будет противиться моему водворению в этой местности, но будет всячески полезен мне, даст мне драгоценные советы, и мы вместе будем бороться с одиночеством, в сто раз более опасным, чем дикие звери, которые по ночам, быть может, спускаются с ближайших гор“. Внезапным усилием

¹⁾ Алжирский жаргон, состоящий из арабских, французских, испанских и итальянских слов. (Прим. перев.).

воли превратив себя в дипломата, я ответил ему очень осторожно, в свою очередь обращаясь к нему на „ты“, как это принято у этих народностей.

— Но кто говорит тебе, о Си-Бу-Бекр, что я возымел намерение выгнать тебя из дома, в котором ты так давно живешь? Все мы знаем услуги, которые ты оказал делу озера Фатимы, и те, кто меня послал, думали, напротив, что никто лучше тебя не сможет помочь нам в нашем предприятии. Если, во имя аллаха, ты окажешь мне гостеприимство на эту ночь, я познаю тебя с грандиозными проектами, которые они разработали для твоего и моего счастья.

Эта речь, полная восточной любезности, казалась, смягчила его; все благородство его расы отразилось на его лице, сменяя недоверчивость одинокого дикаря. Видно было, что он говорит себе: „В конце концов, это было не так уж глупо. Мне будет компания, а если он мне надоеет, у меня всегда есть дубина“. Тогда он протянул мне руку, сказал: „По рукам!“ и повел меня в свой дом, по правде сказать, бесформенную дыру, меблированную несколькими циновками и двумя олеографиями, изображающими президентов Тьера и Сади-Карно. Оставив себе нижний этаж с глинобитным полом и циновками, он предложил мне комнату во втором этаже, где имелась кровать на ремнях, туалетный стол, два стула и козья шкура вместо ковра. Он устроил там меня и мои вещи, после того, как уложил спать мулов в маленькой конюшне, примыкающей к главному помещению.

Чтоб окончательно завоевать его благоволение, я подарил ему тогда великолепный наргилэ, ко-

торый купил за день до того в Боне, с двумя трубками длиной в три метра каждая. Без всякого хвастовства могу сказать, что это был, действительно, решающий поступок. Он выказал детскую радость, наполнил графин, набил трубку табаком и заставил меня взять один из двух янтарных концов. И вот мы устроились друг против друга, при слабом свете конюшенного фонаря, привешенного к стене, курия и рассуждая, как настоящие суфиты. Когда наргилэ был докурен, мой хозяин приготовил мне такой турецкий кофе, какой мне никогда и не снился: мы долго смаковали его маленькими осторожными глотками, как люди, знающие цену удовольствиям, столь ограниченным в жизни вообще и в кофенитии в частности. А когда душистый напиток был допит, Си-Бу-Бекр достал из старого сундука арабскую флейту и счел своим долгом сыграть мне несколько мелодий. Это было ужасно: у меня стучали зубы, невидимая стрела пронзала мне уши, виски и самый мозг, мускулы моих щек сводило от боли. Но, как бы там ни было, я преобразил все эти движения возмущенного инстинкта в улыбку и даже нашел в себе силу испустить несколько радостных криков, которые, казалось, вырвало у меня восхищение. Потом, чтобы не быть в долгу, я принес скрипку и в свою очередь сыграл несколько лучших вещей моего репертуара, но я едва их слышал, так они были заглушены радостным воем моего восхищенного хозяина. Когда мы в полночь растались, выкурив вместе еще почтенное количество наргилэ и, впрочем, не пообедав (но тогда я даже не заметил этой ничтожной подробности), мы были такими же близ-

кими друзьями, как если бы с детства были неразлучны. Осторожный и сдержанный, как истинный мусульманин, я отложил изложение своих проектов и хорошо сделал. Я доверил их ему только через несколько дней, когда возврат недоверия мне показался окончательно предотвращенным. Нечего и говорить, что он согласился от всего сердца. Повторяю, мы нашли в нем драгоценного помощника.

На утро после этого знаменательного дня, встав с рассветом, я обошел озеро в обществе Си-Бу-Бекра, снова восхищаясь бесконечными возможностями для охотников, и мысленно наметил место, где надо будет возвести предположенный „palace“; это, неподалеку от нашей дыры (которую, хотя бы из суеверия, нельзя будет уничтожать!), род площадки, откуда открывается роскошный вид: все озеро и волны голубоватых гор, производящих самое очаровательное впечатление. Потом Си-Бу-Бекр одолжил мне ружье и научил охотиться, т. е. разрывать кусты и пугать птиц. Но, благодаря его ловкости, мы каждое утро добываем таким образом пищу на весь день. Что за чудесная жизнь! Мы живем, как герои Майн-Рида. Ах, г. де Торвиль, благодаря вам я узнал (во всех смыслах, прямо и переносном) оазис в пустыне, каковой было до сих пор мое существование.

Не забудьте передать мадам де Торвиль мой почтительнейший привет, а моему юному ученику сердечный поклон и верьте, дорогой благодетель, глубокой преданности бесконечно вам признательного

Мариюса Фюмада.

P.S. Си-Бу-Бекр великолепно понял обширный проект, основы которого вы послали меня заложить. Он особенно был поражен мыслью о „palace“. Он уже думает об устройстве на террасе джигитовки раз в неделю. Это будет очень заманчиво. Пока он готов искать рабочих, чтобы начать постройку. Недалеко от озера как раз имеется отличная каменоломня...

М. Ф.

— Ну-с,—воскликнул Симон, dokonчив чтение этого документа,—что вы думаете об этом? Не чудесно ли это все? Самый закоренелый скептик должен признать в этом приключении присутствие магнетического, сверхчеловеческого элемента. Вот человек, который еще вчера был бедным скрипачем, дрожащим под холодной своей аркой, а сегодня, один вид озера Фатимы делает его дипломатом, полным инициативы, настоящим организатором, он привлекает на нашу сторону мусульманина, т. е. человека самого холодного, самого равнодушного типа, какой только есть на свете. Чего я не сделаю с такими сотрудниками? Ах, я чувствую это предприятие, я чувствую его, как никогда не чувствовал ни одного. Оно все у меня в голове, с мельчайшими подробностями. Ему остается только вылиться. И это будет великолепно. Но что нужно Катарине Бюрс, служанке верной, но которая упорно входит, не поступая? А! она принесла вторую почту. Как? письмо от короля. Действительно, счастье не приходит одиноко. Я думаю, и с этой стороны, делишки пойдут не плохо. Посмотрим, что сообщает нам его величество.

Мой дорогой друг,

Это письмо не помечено ни числом, ни местом отправления. Даже штемпель на конверте не даст вам никаких указаний о нашем точном местопребывании. Верный человек сдал это послание на почту в местности, очень отдаленной от той, где мы находимся и где нас, вероятно, уже не будет, когда вы его получите. Современные обстоятельства вынуждают нас быть все более и более осторожными, даже скрытными. Все будет сказано, если мы вам сообщим, что наши решающие переговоры в тех краях почти что закончены. Чили, отвлеченное революцией, которая толкает друг на друга обе партии нации, северную и южную, не замечает значительных успехов наших верных союзников, патагонцев. „Кипит“, как говорил наш августейший предшественник в утро битвы, после которой он был провозглашен королем в своей столице.

Теперь все зависит от быстроты последнего удара. Необходимо, чтоб он был ужасен, если мы хотим, чтоб он был решающим. Мы наготове отбыть с мгновения на мгновение. Но совершенно необходимо, чтобы денежный вопрос, в другое время ничтожный, не стал ныне препятствием. Пятьдесят тысяч франков непременно нужны для выполнения плана: двадцать тысяч для нас и для нашей свиты (прибыв на чилийскую границу, придется сыпать золотом, чтоб пройти, — вы знаете нравы этой страны) и тридцать тысяч для срочной пересылки храброму патагонскому воеводе Ману, который уже два года не платил своим войскам. Они — верны, но надо избегать даже

тени упадка. Через восемь или десять дней от нашего имени и в большой тайне придут за этой суммой.

Мы рассчитываем только на вашу преданность, на ваше искусство. Повидайте наших приверженцев. Попытайтесь призвать их в последний раз. Пусть они знают, что неблагодарность несвойственна вашему

Нестору-Аякцу.

P.S. Мы знаем, как ваши личные дела поглощают вас, и мы не хотели бы (надо сказать это теперь или никогда!) ради царства, даже ради нашего, отнимать вас у Марселя тогда, когда ваше присутствие там является охраной ваших интересов. Итак, мы уедем без вас и только оттуда позовем вас, когда настолько наладим управление, чтобы обязанности, которые мы вам обещали, могли быть выполняемы в полной безопасности.

P.P.S.S. Излишне добавлять, что вы имеете полномочие жаловать тем, кто нам поможет при данных обстоятельствах, высшие степени нашего ордена Южного Креста. Настоящим, в воздаяние за ваши верноподданнические заслуги, мы жалуем вас шейным знаком командора.

P.P.P.S.S.S. Само собой разумеется, что мы охотно соглашаемся значиться в списках вашего правления. Мы знаем, что вы не вовлечете нас в предприятие, где наше имя могло бы пострадать.

Н.-А.

— Что же сказать об этом короле в изгнании? — продолжал г. де Торвиль еще более оживленным

тоном.—Преследуемый, непризнанный, влача жалкое существование, он думает обо всем, и каким стилем! Быстрым и ясным, как «Комментарии» Цезаря. О, я найду ему эти пятьдесят тысяч франков! Просто удовольствие одолжать людям такого закала. Я сожалею об одном: о том, что не смогу присутствовать при его триумфальном въезде в столицу. Но я должен думать о вашем благосостоянии, и его величество сам это понимает, прося меня не покидать вас.

— Какой он, папа, этот орден Южного Креста?—спросил Алексис, питавший слабость к знакам отличия.

— Лента ярко красного цвета, в роде Почетного Легиона, но звезда, из золота и эмали, украшена столькими же бриллиантами, сколько их есть в со-звездии, имя которого орден носит, и так же расположенными. Это замечательно красивая вещь. Но дело не в том, чтобы любоваться этими прелестными безделушками. Минута решительная... У меня работы на несколько дней.

И Симон, покинув своих, заперся в кабинете, чтоб ответить подробно и сердечно Мариусу Фюмаду и дать ему нужные инструкции. Потом отправил свою обширную корреспонденцию, что заняло его далеко за полночь, и только на следующий день смог броситься на поиски суммы, нужной претенденту.

ГЛАВА XII,

В КОТОРОЙ ЧИТАТЕЛЮ ПРЕДСТАВЛЯЮТ НОВУЮ
ГЕРОИНЮ.

В существовании Симона де Торвиля была одна любопытная особенность: никогда не умея найти

денег для себя (или находя смехотворные суммы), он добывал их со сравнительной легкостью, когда это было нужно для предприятий, которые его никоим образом не касались, как, например, реставрация Нестора-Аякса. Надо сказать, человек очень силен, когда является от имени короля, даже если этот король, вместо того, чтобы сидеть на троне, только пытается на него взобраться: так как, несмотря на демократическую банальность наших дней, еще существуют люди, над которыми образ монарха имеет странную, неодолимую власть. Мадам Батильда Брусваль, родная тетка Симона, была из их числа.

Я не представил это действующее лицо раньше, потому что оно еще не было необходимо для действия. Мало того: оно упорно отказывалось принять в нем участие. Скупая и властолюбивая, эта старая дама отреклась от всего: от долга, друзей, семьи, чтобы посвятить себя двум страстям: искусственному выхаживанию недоносков и священному делу короля Араукании.

Она жила на Прадо ¹⁾, за маленьким бассейном с фонтаном и двумя круглыми лужайками вокруг двух тюльпановых деревьев, в комфортабельной вилле, большую часть которой она превратила в детскую. «Эта добрая особа обожает детей»,—уверяли немногие избранные, которые ее знали или слышали о ней, в том числе аббат Журдин, который относился к ней с истинным благоговением. Это было не совсем точно: у вдовы Брусваль, сестры матери Симона де Торвиля, была мания наседки, что не совсем одно и то же. Ей нравилось видеть, как родятся и быстро

¹⁾ Прекрасная платановая аллея в Марселе, с многочисленными виллами, ведущая за город. (Прим. перев.).

развиваются крохотные организмы, вне естественных условий, которыми обычно их окружают; но были ли эти организмы малышами человека или петуха, это было ей в сущности безразлично. Она бы даже охотно воспитывала детенышей змей, землероек и жаб, если бы не отвращение, которое ей внушали эти животные. Пока она ограничивалась породистыми курами, разведение которых приносило ей некоторый доход, и детьми, в собственном смысле этого слова, что увеличивало только ее значение в околотке.

Таким образом, она получила в Марселе своеобразную известность. Доктора знали ее и посылали к ней: я хочу сказать, что всякий раз, как среди их пациенток дама, девица, швейцариха, горничная дарила жизнь особенно хилому существу или делала это прежде времени, они говорили:

— Его можно спасти, только передав мадам Брусваль.—И мадам Брусваль открыла род частного госпиталя, где стоял жаркий воздух, пахнувший фенолом, горячим молоком и курицей.

Она приняла своего племянника в просторном зале, обставленном единственно восемнадцатью стеклянными клетками, из которых шесть кишели деловитыми цыплятами, светлыми, как кучка ржи, и столь же веселыми на взгляд, сколь были отвратительны, скорчены, сморщены, сумрачны дети, спавшие в остальных двенадцати клетках. Она не прервала своей прогулки при виде входящего Симона, но, напротив, немедленно доверила ему занимавшие ее мысли.

— Видели ли вы когда-нибудь, мой милый,—воскликнула она, потрясая короткой тросточкой из черного дерева, которую она держала в руке и которая была похожа на маршалский жезл, лишенный всяких украшений,—видели ли вы когда-нибудь таких

чудовищ? Это могло бы возбудить отвращение к филантропии, если бы вообще бывали филантропы. Я каждый день благословляю бесплодие, на которое предвечный обрек моего бедного покойного мужа, когда я созерцаю результаты плодovitости других. Подумать, что и я могла бы стать матерью такого же образчика! Посмотрите на этого, вон там, в третьей клетке налево: это сын прачки, брошенной маляром. Можно ли представить себе старческое лицо с большим отвращением к жизни? Можно подумать, что он сделал эту гримасу омерзения по адресу негодая и дуры, которые произвели его на свет.

— Я восхищаюсь,—сказал Симон с невозмутимой любезностью,—изяществом, с которым вы скрываете благотворительность под суровой внешностью...

Батильда не дала ему кончить. Ее высокая фигура в шелковом платье с лиловыми разводами выпрямилась, ее орлиный нос затрепетал, ее тонкие губы судорожно вздрогнули, ее глаза, черные и живые, как у птицы, заблестели возмущением. Она бросилась с поднятой палкой на племянника, как бы желая его уничтожить при помощи колдовства, мысль о котором неминуемо возбуждала вся ее сухая особа.

— Замолчите, пожалуйста! Я запрещаю вам говорить о благотворительности. Слава богу, я не дура. Все эти человеческие отбросы мне отвратительны, но я люблю науку, и меня забавляет бороться с природой, которая их обрекла, и на зло ей заставлять их жить. Не считая того,—добавила она, немного прояснившись,—что мне не неприятно думать о чудесной кутерьме, которую они позднее произведут в обществе,—эта толпа сумасшедших, дегенератов и преступников. Мы еще посмеемся.

И с беспокойным звуком кастаньет радостно

потирая руки, она расхохоталась скрипучим смехом, который прозвучал почти так же.

— Но я не думаю, мой милый племянник, чтобы вы пришли в мой калорифер с единственной целью осмотреть мой тератологический музей. Вы простой человек, Симон, я всегда это говорила, и извращенность, сложность, даже медицинского характера, совсем не для вас. Скажите мне, что вас привело, но будьте кратки, так как у меня мало свободного времени.

— Мы бы не могли поговорить в другой комнате, тетя?

— А зачем, я вас спрашиваю? Из-за purse, которая ходит взад и вперед и взвешивает маленьких? Она ирландка и не понимает ни слова по-французски. Или вы боитесь предательства со стороны этих зародышей? Они, конечно, будут мерзавцами, но станут опасными только через некоторое время. Возьмите стул и объяснитесь.

— Хорошо! Вот...

— Да, я должна вас сразу предупредить. Не просите у меня денег для какого-нибудь предприятия. Я решительно отказываюсь. У вас есть дарование, это неоспоримо, но дарование слишком специальное на мой вкус. Если вам нравится разорять вашу жену и облегчать вашему сыну его дебют в жизни в качестве нищего, это ваше дело; но я, Батильда Брусваль, которая имеет слабость интересоваться этими несчастными жертвами, я намерена оставить им (им, а не вам) несколько су после моей смерти, так что они не для того, чтобы поливать ими ваш мастодонтов навоз, ваши призрачные порфиры, ваш кухонный хрусталь, ваши красноморские жемчуга и все камушки, которыми вы бредите... Теперь, когда вы предупреждены, говорите—вы пришли за деньгами?

— Да, я пришел просить у вас денег, тетя.

— Вот это не лишено цинизма, нечего сказать!

— Я пришел просить у вас денег, тетя,—повторил Симон с ласковой улыбкой,—и вы мне не откажете потому что это не для меня, и не для мрамора, не для кварца, не для какого-нибудь земного или морского минерала, это для... (и тут его голос понизился до самого глухого звука разоблачаемой тайны) это для... Короля!

— Для Нестора-Аякса?—воскликнула Батильда со сдвинутым горлом, со внезапно изменившимся лицом, как будто она сама, своей палочкой старой волшебницы, преобразила себя.

— Для самого Нестора-Аякса!

— Говорите еще тише. В чем дело?

— Происходят весьма важные вещи. Его величество очень скоро отбывает туда, чтобы соединиться с вождем Мапу и своими арауканскими приверженцами. Момент торжественный. Дело идет не более и не менее, как о государственном перевороте... Впрочем, читайте сами.

И он протянул Батильде королевское письмо. Мадам Брусваль достала из кармана футляр, из футляра круглые черепаховые очки, легкую маску совы, которую надела на свое лицо, и жадно пробежала бумагу.

Огромная почтительность охватила ее всю. Эта женщина, которая ни во что не верила, которая презирала недоносков, которая отрицала даже законность Орлеанской ветви («узурпаторы»,—говорила она с гримасой отвращения), эта женщина верила в Нестора-Аякса. И ее вера была тем более высокой, что не сопровождалась никакой задней мыслью о материальных или моральных выгодах. Она хорошо знала,

что у нее не хватит сил перебраться через океан, чтобы увидеть осуществление своей мечты, т. е. коронование этого монарха. Но ей достаточно было знать, что Нестор-Аякс существует, и она даже не чувствовала потребности его увидеть (он был, кстати, довольно недоступен). Ей было достаточно помогать ему в тени. Так идолопоклонники Джагернаута подымают свои восхищенные глаза к невидимой колеснице, колесо которой их давит...

— Я никогда не скрывала от вас, мой дорогой Симон,— сказала она, возвращая письмо племяннику,— что считаю вас сумасшедшим; тем не менее, я готова простить вам многое, когда думаю, что вы, вы тоже верите в будущее Араукании и ее короля. Я знаю, как его величество скуп на письма и осторожен в своих словах. Если уж он говорит так, как сейчас, значит он уверен в близкой развязке. Я не хочу, чтобы другие потом могли гордиться тем, что помогли ему в этот критический момент. Он пишет, он подчеркивает: «Повидайте наших приверженцев». Я надеюсь, что вы сумеете ему указать, что вам не пришлось посещать иных приверженцев, кроме Батильды Брусваль. Пойдемте со мной в кабинет. Я выпишу вам чек. Вы получите деньги и вручите их от моего имени посланному короля. Главное, будьте осторожны... И, само собой разумеется, вы даете мне честное слово, что эта сумма предназначена исключительно на это дело и что ваши экзотические камушки не отвлекут из нее ни сантимал!

— О тетя, как вы можете думать!..

— Хорошо, хорошо! Я верю. Вы не обманете его величество. Идите за мной.

— Она поднялась по большой лестнице, предше-

ствуя своему племяннику. В третьем этаже, наконец, не было больше ни цыплят, ни детей. Это были личные комнаты старой дамы. Они издавали запах, хотя и довольно резкий, но все же не такой нелепый. Толстые ковры, очень старая мебель, тяжелые и широкие занавеси, летающая повсюду пыль поддерживали в них сумрак грота, который являлся живойшей противоположностью холодной и научной светлости комнат, посвященных высиживанию. Это не мешало мадам Брусваль чувствовать себя здесь отлично. Она отодвинула три кресла, защищавшие комод, повернула на стержне комод, маскировавший собой шкаф, открыла шкаф особнным ключом и из-под стопки бумаг вытащила чековую книжку, из которой вырвала листок. Покрыв этот листок необходимыми рунами, она передала его Симону.

— Хотя вы и женщина,— сказал тогда проситель, который не знал, как выразить свою благодарность,— я совершенно уверен, что его величество не осудит меня, если я вручу вам... Разве я не получил *carte blanche*?

Тогда, вынув из кармана маленький пакетик в шелковой бумаге, он развернул его, и глазам Батильды Брусваль предстала безделушка, довольно схожая со знаком Почетного Легиона, но более роскошная и более художественная. Отеческим, неопределенным жестом генерала, присуждающего военную медаль солдату-герою, он приколот ее к груди своей тетки, которая, с раскрасневшимися щеками, взволнованная, лепетала, отталкивая его, как стыдливая девушка предприимчивого повесу:

— Симон! Послушайте, Симон, я прошу вас!..

И даже ударила его по голове своей волшебной палочкой. Но для г. де Торвиля волшебство было безо-

пасным, и он покинул «Виллу Тюльпанников» таким же, каким пришел, и даже еще более расторопным.

ГЛАВА XIII,

В КОТОРОЙ Г. КОНСТАНТЕН ЗЗОМПС ОТКРЫВАЕТ ТАЙНУ СВОЕЙ ЖИЗНИ.

Утром того же дня, вскоре после ухода Симона, зазвонил звонок, резко, долго, властно и в то же время отчаянно. Так как Алексис был в училище, а Катарина ушла на рынок, то поневоле мадам де Торвиль поднялась и сама отправилась отворять. Не без удивления увидела она в полумраке передней сверкающие блестящих, немного диких глаз г. Константена Ззомпса. «Нравственная опора», правда, имел привычку приходить завтракать каждый день, но из-за этого он не изменял другой своей привычке, более старой и еще более священной: вставать только с приближением полудня. Таким образом его появление в столь ранний час было чем-то необычайным.

— Мужа нет дома,—начала было объяснять Поль.

Но доктор-грек прервал ее лихорадочно:

— Я знаю, сударыня, я знаю. Потому я и позволил себе... Я умоляю вас впустить меня.

Он казался таким обеспокоенным, таким расстроенным и к тому же так спешил, что невольно мадам де Торвиль уступила.

— Могу я попросить у вас одну минуту для разговора?

— Боже мой! Я...

— Нет, вы не откажете мне. И вы будете тем более рады своему согласию, что вы... Но я захожу

слишком далеко... Простите меня... Мне необходимо... Позвольте мне отдохнуть одну минуту молча, я очень запыхался.

— Но, мой дорогой г. Ззомпс, в чем дело?—спросила Поль, проводив его в гостиную с двенадцатью каминами.—Можно подумать, что вас преследуют.

— Ах, сударыня, как вы проникательны! Преследуют? Да, меня преследуют, и не враги, не люди, которых я мог бы уничтожить ударом шпаги или выстрелом из револьвера. Но то, против чего человек бессилен... жизнь, так сказать... вы понимаете меня?

— Плохо. Но вы объяснитесь.

— Сударыня, вы видите перед собой утопающего!

И, как бы сам ужаснувшись образа, который он вызвал, он захрипел, поднес руку к горлу, как последний человек, настигнутый потоком, и одно мгновение оставался безмолвен. На этот раз мадам де Торвиль испугалась не на шутку.

— Утопающего!—повторил он, как только снова пришел в себя.—Я тону, тону молча, и никто этого не знает...

— ...

— Это положение длится уже давно. Я скрываю его от человеческих глаз, никто о нем не подозревает. Усилие, которое я сделал, купив Калипсо и показывая ее зевакам в полотняном балагане, было моей последней попыткой бороться. Потом все рухнуло.

— Я, однако, думала, что мой муж...

— Ваш муж, сударыня, велик! Все его поведение в отношении меня—самый удивительный пример щедрости и доброты, какой я знаю. Но как раз из-за доверия, которого он меня удостаивает, я не чувствую себя в праве пользоваться им шире, чем теперь. Он

борется,— правда, великолепно,— среди тяжелых обстоятельств. Я бы совестился обременять его новыми заботами. Дружба требует от меня молчания из страха перед жертвами, на которые он мог бы пойти (опрометчиво, может быть), чтобы мне помочь. Что скрывает моя приветливая улыбка, когда мой дорогой друг развивает свои роскошные планы, этого он никогда не узнает, нельзя, чтобы он это узнал.

— Что же это такое?

— Нищета, сударыня, разорение, кредиторы. Я думал, что сбил их со следа после Миссолонги, но они снова нашли меня и хотят захватить четыре антикварные редкости, которые мне принесла продажа бедной сирены,— адское существование! Я должен уехать.

— Уехать?..

— Еще раз! Да, сударыня. И это разрывает мне сердце, так как я приобрел сладкие привычки у вашего очага... Но я себя знаю: под грубоватой, даже воинственной внешностью (не даром в некоторых кругах меня называют прекрасным Паликаром) я скрываю чувствительную, даже сентиментальную душу. Когда-нибудь моя тяжкая тайна своим неодолимым напором прорвала бы плотину моей гордости, и Симон, чтобы спасти меня, совершил бы безразсудство. Итак, я должен уехать, и я пришел сегодня вам это сказать, потому что вы одна, да, вы одна можете мне помочь.

— Я? Вы меня изумляете. Как могу я?..

— Однажды, сударыня (ах, клянусь Юпитером, я был за тысячу миль от каких бы то ни было подозрений), Симон, у которого были дела, оставил меня одного в своем studio, поручив мне составить два-три письма. К вам пришел аббат Журдин: вы были в этой

же гостиной, где вы принимаете меня сегодня, а она отделена от кабинета тонкой стенкой. Я услышал невольно,— ах, честное слово!— совсем невольно, ваш разговор.

Бледная от природы, Поль нашла способ еще побледнеть: ее белая и узкая рука сжалась на ручке кресла.

— Что я сказал?.. Что вы думаете обо мне?

— Но я... я была уверена, что я совсем одна...

— Вы и были одни... Ваша тайна во мне, как труп, залитый негашеной известью: неразрушимый, но навеки скрытый от человеческого взгляда. И мне ли, ничтожному, рассуждать о том, каким образом жена моего благодетеля распоряжается своим состоянием? Мне ли хотя бы думать об этом? Дело совсем не в этом. И если б обстоятельства не довели меня до отчаяния, которое я вам только что описал, я бы не позволил себе никогда даже вспоминать об этом разговоре. Но когда г. Журдин сообщал вам свой проект, я как будто понял, что мадам Вусюр будет нужен кто-нибудь для... словом, лакей.

— ...?

— Разрешите мне отправиться в Сент-Ориоль, явиться от вашего имени и от имени г. Журдина к этой прекрасной мадам Вусюр и просить ее, если никто еще не предлагал себя на эту скромную работу, поручить ее мне. Ах, да, я знаю, вы говорите себе: «Это невозможно, это безумно. Никогда доктор Константен Зомпс из Миссолонги не сможет быть лакеем в кафе». Он им будет, сударыня. Доктор Константен Зомпс отказался от всякой гордости, доктор Константен Зомпс побежден.

— Я не смею препятствовать вашему намерению, раз оно так определено. И, само собой разумеется,

я ничего не могу иметь против вас, хотя меня немного огорчает, что вы будете выполнять такие обязанности.

— Не место красит человека, говорит пословица.

— Конечно. Но сознаете ли вы трудность моего положения? Уже у меня есть секрет от г. де Торвиля, и это меня смущает. Теперь у меня их будет два.

— Они оба очень невинны, и второй будет еще строже сохранен, быть может, чем первый. В моем прощальном письме к Симону я не упомяну ни о моем визите к вам сегодня утром, ни о моем отъезде в Сент-Ориоль сегодня вечером. Он будет считать меня уехавшим далеко на родину для приведения в порядок неотложных семейных дел. Таким образом он не сочтет меня неблагодарным и останется в неведении печальных причин моего бегства. Я попрошу мадам Вусюр молчать, и вы с вашей стороны дадите такой же совет г. Журдину. Вся эта драма, таким образом, не оставит по себе никакого следа: г. де Торвиль будет думать то, что он думает, т. е. что мадам Вусюр получила по протекции Кармского викария заведывание маленьким кафе на портовой набережной в Сент-Ориоле. Какого чорта ему придет в голову искать там своего несчастного Константена, свою «нравственную опору»?

Еще одно слово, последнее, самое трудное. Краска стыда заливает мне лицо, не смотрите на меня. У меня нет суммы, необходимой на то, чтобы сесть в трамвай и добраться до вокзала, — на первую часть моего путешествия; мои сапоги улыбаются при мысли о моей нужде, и когда я вам скажу, что мое белье износилось, это будет еще самый приличный оборот,

который можно употребить, чтобы намекнуть на его жалкое состояние. Может быть, вместе с рекомендательным письмом, которое вы мне дадите к этой достойнейшей мадам Вусюр, вы одолжите мне (я вам отдам их из первого жалованья) сто двадцать франков?

— У меня только пятьдесят франков наличными.

— Этого хватит, сударыня, — торжественно объявил г. Ззомпс, — и моя благодарность от этого не убавится.

Мадам де Торвиль с сердцем, переполненным горестной жалостью, удалилась в свою комнату, нацарапала там письмо к мадам Вусюр, в котором, считая недостаточным просто рекомендовать доктора-грека, умоляла ее смягчить по возможности ужасы скромного положения, которого он добивался, и принесла его г. Ззомпсу, добавив пятьдесят франков в новеньких монетах по десять су, терпеливый результат ее нумизматических изысканий и маленький запас на случай беды.

Тогда «нравственная опора» стал на одно колено, приложил руку к бьющемуся сердцу и заставил появиться на белках своих глаз по три слезы, по три великолепных слезы чистой воды, воскликнув:

— Благодарю, благодетельница, благодарю!

Потом он исчез, как будто вся полиция Этолии¹⁾ мчалась за ним по пятам, даже не поздоровавшись со своим старым другом — сиреной.

¹⁾ Этолия — греческая провинция, с главным городом Миссолонги. (Прим. перев.).

ГЛАВА XIV,

В КОТОРОЙ РЫБАК, ДЛЯ ПРИМАНКИ, ЗАКИДЫВАЕТ
СЛИШКОМ ЖИРНУЮ НАЖИВКУ.

Симон де Торвиль не всегда был вынужден искать в «крупных предприятиях» то значительное состояние, которое необходимо прежде всего для развития таковых (так как крупное предприятие съедает гораздо больше денег, нежели приносит—это истина, известная из опыта, увы, ежедневного), а потом для образа жизни, который предполагается у делового человека, их ведущего. Это состояние у него когда-то было, и Алексис, этот милый ребенок, еще помнил некий дом барского вида в Анжере, подъезды с балюстрадами, высокие, просторные залы, многочисленную прислугу, лошадей в конюшнях, парадные обеды, на которых он не присутствовал, но роскошную стройность которых он, с разрешения гувернантки, созерцал одну минуту, перед отходом ко сну. Г. де Торвиль держал открытый дом: это привычка, которую принято считать дорогой, но которая разорительна не столько из-за повара, сколько из-за гостей. Действительно, повар, однажды установив в голове размер комиссионных, которые он намерен взимать с рыбы, мяса, овощей и фруктов, придерживается его из профессиональной осторожности. Никаких серьезных сюрпризов нельзя ожидать со стороны буфетной. Но гости!.. Можно ли предвидеть, что безумный репетитор, которого встретили на мосту и уговорили не бросаться в Мэну, не превратится, под влиянием острых соусов и возбуждающих вин, после нескольких усердно посещенных обедов, в опасного изобретателя,

в одного из тех людей, которые создают мостовые из старых газет, мед из мыла или духи из трупов? Так именно и случилось с г. де Торвилем. Он охотно прислушивался к пению этих промышленных сирен, и состояние его предков, так же как и приданое его милой жены, пошли ко дну под звуки их волшебного концерта.

Но хуже всего то, что мало по малу он пристрастился к атмосфере лихорадочной работы, широких планов, бурных комбинаций. Он доверил крупным предприятиям восстановление того, что они разрушили, говоря себе, что теперь он обладает опытом, который оградит его от всяких неожиданностей. И вот тогда, покинув аристократическую столицу Анжу, климат которой, кстати, был уже недостаточно мягок для Поль, с каждым годом становившейся все более зябкой, после короткого пребывания в Бордо, он решил поселиться в Марселе, где и застает его наш рассказ.

В течение нескольких лет—с чувством, что это только недели—он переживал там то, что называл в минуты пессимизма «трудным фарватером». Единственно, о чем он сожалел, в ожидании близкого дня выхода из этого фарватера, было вынужденное уменьшение роскоши, которую он любил и к которой привык. Двенадцать каминов, конечно, нечто, но с условием, чтобы они были размещены в стольких же отличных комнатах и имела возможность набить их длинными и толстыми, весело пылающими поленьями, а не были скучены, как кулисы в складе декораций, вдоль стен единственной, почти пустой гостиной.

К счастью, для уничтожения всех этих неприятных впечатлений, Марсель обладает двумя вещами, бесконечно ценными и которые нигде не достигают такой

степени совершенства: это — хорошая погода, веселящая сердце, и кафе. Особенно кафе. Там г. де Торвиль забывал все. Там, окруженный друзьями, которым он, не помня, как их зовут, давал фантастические имена и которых он подбирал неизвестно где, ему еще чудилось, что он держит открытый дом. Ведь для этого нужно так немного! Эти господа были так воздержны: рюмка горькой, рюмка полынной, в особых случаях рюмка портвейна создавали в них впечатление, что их угощает сам Меценат; и часто, созерцая их славные лица, где хмельная истома мешалась с возбуждением счастливых мечтаний, лелеемых изо дня в день, г. де Торвиль испытывал такую радость, что этого ему было достаточно, чтобы снова броситься с должным мужеством в водоворот своих собственных дел. Это ему стоило время до времени нескольких монет в сто су, но душевная энергия за такую цену, это — просто даром.

С особенно подчеркнутой снисходительностью покровительствовал Симон двоим, и у них вошло в привычку ждать его в «Глетчере». Впрочем, это выражение далеко не точно. Они его не ждали, они были на месте: в этом есть оттенок. Они являлись один за другим между половиной одиннадцатого и одиннадцатью, и как только они были в сборе, они спрашивали два вермута и шахматы. Потом являлся г. де Торвиль и пожимал им руки. Завязывался разговор. Симон выслушивал их мечтания и одобрял их с умилением, потом объяснял им свои планы, которыми они восторженно рукоплескали. Затем, когда колокол Нотр-Дам подавал свой огромный и великолепный голос, он вставал, платил за три рюмки и уходил. Приятели кончали тогда свою партию в шахматы и удалялись тоже.

Одного звали Медерик Тарпвье; некогда, в очень отдаленные времена, он был чем-то в роде адвоката. Отсюда он сохранил очень изысканные обороты речи (когда соглашался прервать свое молчание), привычку давать юридические советы в затруднительных случаях и острое желание, чтобы его называли «мэтр», а не «м-сье», титул неопределенный и бесцветный, лишенный смысла. Он носил длинный синий сюртук, и жилет из белого шелка, а на ногах гетры, тоже белые. Черепаховый монокль на много раз порванной и связанной узлами ленте свидетельствовал о древних претензиях на дэндизм. Второй, гораздо менее изысканный, отвечал на имя Теодора Муази и, получив приглашение покинуть все занимаемые им должности, носил в своих глазах загнанного пса, на широком и землистом лице, на всей своей расшатанной фигуре, облаченной в слишком поблескивающий черный костюм, явный знак того, что ему ни теперь, ни в будущем нечего больше делать. Чем жили эти две личности? — тайна. Однако они жили: большие города изобилуют такими существами, которые нарушают расчеты самых тонких экономистов и которых никто не видел за едой, как бы за ними ни следили.

Каким образом г. де Торвиль вступил в сношения с ними, это опять-таки вопрос довольно темный. Но, во всяком случае, обряд, о котором я говорил, давно уже выполнялся с астрономической точностью. Когда по той или иной причине Симон не мог прийти в «Глетчер», мэтр Тарпвье и г. Муази этим не смущались. Они пили свой вермут и играли свою партию в шахматы в хорошую погоду на террасе, в дурную — внутри. Счет писался на имя Покровителя. Действительно, кто был бы в праве предъявить его таким несостоятельным джентльменам?

Покинув «Дворец недоносков» (как он сам называл виллу своей тетки), Симон бросился в кредитное общество, адрес которого стоял на чеке, чтобы реализовать последний. Какова бы ни была его привычка к делам, он не был пресыщен радостью, испытываемой при такого рода операциях. Бесстрастность, с которой кассир убавлял состояние мадам Брусваль, изумляла его. Этот чиновник даже не спрашивал, зачем старая дама лишает себя суммы, которая могла бы содержать его и его скромное семейство добрых пятнадцать лет. Симон воображал таким образом то, что могли бы думать разные типы людей, у которых как раз вошло в привычку не думать вовсе. Такова благожелательная природа поэтов, что, несмотря на свойственный человеческому сердцу эгоизм, они рассматривают существование других с той же тщательностью, как если бы дело касалось их самих. И эта благожелательность сегодня была удвоена ощущением в кармане, прямо у печени, у этого важного органа, пятидесяти чудесных тысячефранковых бумажек, совсем новых, хрустящих и гладких, как лощеная тафта, голубых, как глаза девушки, и украшенных нежными аллегорическими рисунками. Они не принадлежали ему, конечно, и тем менее можно было думать о получении их взаймы, что тот, кому они принадлежали, обитал далеко, неизвестно где; но они были тут. Они заменяли те, которые можно было бы иметь, то есть состояние, независимость, приключения, счастье...

Затем он отправился с бодрым видом в кафе «Глетчер». Оба шахматиста встретили его любезно.

— Ну, — воскликнул г. Муази, — вот вы и улыбаетесь! Есть что-нибудь новенькое на озере Фатиме?

— Уж не подписались ли подписчики? — поддержал мэтр Тарпвье.

В то же мгновение, с молниеносной быстротой потока, прорывающего плотину и затопляющего равнину, мозг г. де Торвиля охватила мысль. Он не стал терять времени на то, чтобы спрашивать себя, все ли ее последствия будут одинаково благотворны. Он увидел только ее внушительную широту. С ним говорили об озере Фатиме, его спрашивали, явились ли подписчики... Но, чорт возьми, они не являлись, потому что не видели, чтобы кто-нибудь являлся до них. Хорошо! Но он, разве у него не было в кармане, чем доказать существование более сорока этих беспечных, этих неуловимых подписчиков?

— Господа, — ответил он, приосанившись на своей скамье, словно могущественный финансист в директорском кресле, — я могу сказать вам только, что дело с озером Фатимой не двигается, оно летит. Почти половина подписчиков готова к отъезду, и — неслыханная вещь в летописях подписок — они уплатили вперед.

— Уплатили вперед?! — воскликнул мэтр Тарпвье, для которого это новшество являлось миром наизнанку, чистейшим и простейшим безумием.

— Доказательство! — воскликнул Симон, доставая бумажник и расстилая веером пятьдесят эстампов Французского Банка.

— О, боже мой! — таково было единственное слово, которое нашел бедный г. Муази, за всю свою жизнь не видывавший кредитного билета в тысячу франков и даже никогда не бывавший у людей, способных описать таковой. Он сидел потрясенный, с дыханием, пресекавшимся в раскрытом рту, современной статуей остоленения. Его несчастные руки дрожали. Если бы г. де Торвиль послушался своего сердца, он сказал бы ему, рассыпав связку по столу:

— На-те, берите, вот вам до отвалу золота и наслаждений! Живите во-всю. Будьте счастливы!

Но остаток осторожности его удержал. Он принял серьезный, даже сосредоточенный вид и занялся водворением бумаг на прежнее место.

Правда, мэтр Тарпвье и г. Муази всегда ему доверяли, но для оправдания этого доверия они не обладали никаким достоверным доказательством, никаким осязательным фактом. Они приняли раз навсегда, что есть на свете человек, назначение которого состоит в том, чтобы обеспечивать им их ежедневную рюмку, а что касается того, кто этот человек, откуда он и где он берет сам то, что им дает, об этом они никогда не беспокоились. Но теперь не оставалось ни малейшего сомнения: г. де Торвиль был волшебник.

В несколько мгновений сказочная новость распространилась по довольно значительной окружности вокруг столика шахматистов. Иные встали, просили их представить; другие, пренебрегая этой формальностью, в конце концов излишней, подходили молча пожать Симону руку, с сияющим и в то же время сдержанным видом, какой принимают в церкви, поздравляя новобрачного (счастливый человек не обручился ли только что с Богатством?)... Третьи, наконец, более скромные или более застенчивые, украдкой бросали на него со своих мест взгляды, блестящие от восхищения. Лакей, гордый своим клиентом, всякий раз как его обязанности давали ему минуту передышки, становился перед ним и не сводил с него глаз, как бы говоря: «А все-таки это я подаю каждый день этому исключительному человеку! В каком другом заведении можно встретить такого?»

Короче, моральный эффект, на который г. де Торвиль рассчитывал, изобретая эту стратегию, превзошел все, о чем он мог мечтать. Нежданная, безмерная и бесплатная реклама выросла вокруг озера Фатимы. Уже она переливалась за край кафе, достигала Каннебьеры¹⁾, вечерние газеты готовы были ее подхватить...

Между тем, в залу вошел человек такого высокого роста и такой осанки, что, несмотря на толпу и шум, нельзя было его не заметить. Он держал голову слегка откинутой назад, густые седые усы пересекали багровое лицо, а рука потрясала толстой тростью, как грозной шпалой. Это был полковник Жандебьен, завсегдатай, сосед Симона по столику. До сих пор они поддерживали вежливые, но неопределенные отношения, ограничивающиеся передачей разных мелочей, как-то: сахар, бювар, спичечница, иллюстрированные журналы, и безличными замечаниями насчет погоды. Но на этот раз он направился к Симону с протянутой рукой:

— Что я узнаю, милостивый государь?— сказал он.—Вы интересуетесь охотой? Вы мне этого никогда не говорили.

— Но, полковник...

— Никаких «но полковник»... Вы—секретчик.

— Я, кажется, послал вам проспект...

— Та-та-та! проспект!.. Разве читают проспекты! Не могли вы прямо обратиться ко мне? Мне приходится узнавать из уличных слухов, что вы купили целый округ в Алжире, что вы организовали там роскошную охоту, что почти все подписчики налицо?.. Это

¹⁾ Главная улица Марселя. (Прим. перев.)

милу. А я что же? Я, который только и грежу ранами, шишками, засадами, кустарниками и стаями, я должен киснуть здесь...

— Поверьте, полковник...

— Узнайте, милостивый государь, что я охотился на пантер в Конго, на тигров в Дагомее, на гиппопотамов на Замбези и ужасно скучаю здесь, в чортовой стране, где даже больше нет кабанов... Полноте, полноте, не теряйте времени на извинения и объясните мне вкратце, в чем дело. На пароход садятся в Жюлиетте?... ¹⁾

Г. де Торвиль пустился в подробное описание красот озера Фатимы; он рассказал о грандиозной и в то же время очаровательной природе, он перечислил зверей всех сортов, которые служат ее украшением, прелесть простой и здоровой жизни в доме Си-Бу-Бекра и г. Фюмада (в ожидании постройки «Palac'a»); он подчеркнул денежные преимущества комбинации, он нарисовал самыми заманчивыми красками приключения, которые должны там выпасть на долю счастливых охотников. Это было совсем лишнее. Полковник Жандебьен был убежден еще до поучения. Он явился с определенным намерением подписаться: все красноречие г. Торвиля не смогло бы отнять у него охоты. Он тем не менее вежливо выслушал его и прервал наконец, только чтобы узнать, когда можно отправляться.

Этот простой вопрос протрезвил Симона, который сам начал верить в реальность подписчиков. Он понял, в молниеносном просветлении, как было бы неосторожно отправить туда человека, который по своему приезду найдет там не сотню товарищей по приклю-

чениям, на которую он рассчитывает, а ободранного араба и учителя музыки. Он тотчас же принял сдержанный вид.

— К сожалению, мне невозможно отпустить вас раньше осени. Во-первых, потому что помещение, которое вам готовится, не совсем еще окончено; затем (и это еще более важная причина) потому, что это было бы нарушением слова, данного другим подписчикам, которые рассчитывают, что никто не замутит им «их озера». Поставьте себя на их место.

Полковник Жандебьен сохранил (от заблуждения, будто он служил в армии) строжайшую военную честность. Несмотря на свое желание сейчас же отправиться в Алжир, он понял, что нельзя настаивать. Что сказал бы он сам, если бы посторонние явились за четыре месяца похищать его цирков, фламинго, шакалов и львов? Он покорился; но чтоб условиться относительно чисел и быть уверенным, что никакой нахал не предупредит его за это время, он хотел обязательно, он тоже, уплатить вперед. Тут же он достал тысячу двести франков из бумажника и вручил их г. де Торвилю, который дал ему взамен расписку по форме. Затем он удалился, насвистывая мотив из «Белой дамы» и размахивая в такт тростью.

Почтительные, немые, забыв даже о шахматах, мэтр Тарпвье и г. Муази созерцали эту удивительную сцену, эту феерию, в которой волшебники, напялив современные костюмы, чтобы лучше скрыться, заставляли бить фонтаном из пустоты озера, зверей, караваны, гостиницы, кредитные билеты. И из глубины их памяти что-то медленно поднималось, что-то такое, что когда-то было планами, что когда-то было надеждой и что давным-давно казалось погребенным

¹⁾ Морской бассейн в Марселе. (Прим. перев.)

под грудой горьких испытаний, разочарований, крушений, окончательной покорности.

— Не знаю,—воскликнул мэтр Тарпвье,—говорил ли я вам когда-нибудь о сокровище, которое мой дед, губернатор Пондишери, нашел в...

— Знали ли вы, сударь,—смирненно пробормотал г. Теодор Муази,—что когда-то, в Шательро, мой жестяной магазин...

Г. де Торвиль подтвердил движением головы, полным доброты. И осторожно, под столом, сунул каждому по красивой серебряной медали с изображением короля Луи-Филиппа, покровителя пятифранковых монет.

Какой другой ответ был бы более кстати?..

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I

ПЕРСЕЙ И АНДРОМЕДА.

Надо сознаться, что, несмотря на неоспоримое изящество манер и прелесть неизменяющегося лица, мадам Антуанетта Вусюр не обладала качествами, гораздо более скромными и обычными, но необходимыми для руководства таким заведением, как то, куда поместила ее изобретательность аббата Журдина. И с первого же дня она натолкнулась на неожиданные трудности.

Она только что высадилась в Сент-Ориоле и даже еще не успела прогуляться по портовой набережной и зайти помолиться в любопытную маленькую церковь св. Антония в конце Высокой улицы, в трехстах метрах от ее кафе, как стала жертвой ловкости некоей личности, которая, сидя на пороге двери, казалось, поджидала ее. Это невыразимое существо, грязное, как болезнь, худое, безобразное, неуклюжее, одетое в выцветшие тряпки поверх черноватой

рубахи, украшенной ярко красным галстуком, в довершение всего кривое на один глаз, объявило ей с необыкновенной беглостью речи, что оно именуется Данте Лупатто, что оно было вынуждено покинуть Триест, свою родину, так как австрийцы, которые его боялись, потребовали его выдачи, что притом оно происходит из знатного веронского дома, что в данный момент оно без работы, что ее, мадам Вусюр, появление во всем подобно сошествию мадонны и что ему казалось, будто она спускается прямо с голубого неба, с руками, светозарными от благословений. Он кончил свою речь тем, что силой схватил вышеуказанные руки и покрыл их липкими поцелуями.

— Мощи,—кричал он,—истинные мощи! Вы святая, я готов умереть за вас!

Потом вкрадчивой лапой он вырвал у нее ключ от двери, сам открыл кафе, в мгновение ока сняв ставни, и приветствовал новую заведывающую в зале, которую, очевидно, знал в прежние времена, как усердный посетитель, так как с необычайной легкостью распознавал всевозможные закоулки. Затем он отпустил тележку, которая привезла багаж с вокзала, и снес его во второй этаж, «в комнаты хозяйки». Эти комнаты состояли всего на всего из большой спальни, обои которой по любопытному совпадению повторяли мотив, пестривший стеганое одеяло на широкой ореховой кровати: то-есть множество медальонов, изображающих большую галеру, которая выгружает на набережную романтического порта апельсины и обезьян, тогда как с потолка спускались на пяти нитках: по середине—хорошенький кораблик с распущенными парусами, а по четырем углам—четыре страусовых яйца.

Итальянец, одновременно занимаясь устройством

комнаты, бросал на эти невинные чудеса умиленные взгляды:

— Здесь вы будете жить,—заклучил он.—Как вам будет здесь хорошо, пресвятая дева! Эта морская комната, это—отдых, это—счастье!.. Я, бедный Данте Лупатто, я растянусь на рогоже внизу, возле прилавка, как верный пес, как мамелюк.

Оглушенная мадам Вусюр, у которой трещала голова, согласилась (к тому же, каким образом можно было воспротивиться?), и с тех пор ее неожиданный спутник распоряжался всем в доме с таким изобилием криков, клятв и просьб, что бедная заведывающая, уединившись в своей комнате с кораблями и охваченная нервной дрожью, проводила целые дни и часть ночей, не смея даже пошевелиться, несмотря на желание воспользоваться свободой, которой она так долго была лишена, и прогуляться по этому тихому городку, славно пахнущему водорослями и мимозой и чьи бесчисленные сети, вечно вытянутые для просушки, казалось, покрывали все свободные места длинными полосами рыжих кружев. Она ждала, пленная, молясь об избавлении.

Ей не пришлось долго ждать.

Второго апреля вечером, только несколько часов спустя после разговора с мадам де Торвиль, доктор Константен Эзомпс высадился, в свою очередь, в этом милом средиземноморском городе и велел проводить себя в «Большое Кафе Трех Наций», куда он вошел, покручивая усы и вращая ужасными глазами. С первого же взгляда Данте Лупатто угадал врага, но, бедняга, ему не под силу было бороться с таким человеком.

Он попытался было узнать, почему пришлец желает

говорить с хозяйкой, а не с ним, ее официальным представителем. Тот, не отвечая, небрежно отодвинул его оборотной стороной руки и, уже угадывая внутреннее расположение дома, взобрался с видом победителя по узкой витой лестнице, которая вела в комнату узницы. Мадам Вусюр тотчас же его узнала, но, когда она докончила письмо, в котором мадам де Торвиль рекомендовала его ей, ее сердце переполнилось торопливой волной признаний. Спокойный, теребя ус, г. Зомпс выждал конца этого печального рассказа. Потом он заметил:

— Поверите ли вы мне, сударыня, если я вам скажу, что я уже разгадал вас? Проникнув в нижний зал и бросив взгляд на жалкого оборванца, который его занимает и который одним своим видом, должно быть, уже спугнул всю знатную клиентуру, я предугадал то, что он сделал с вами. О, не изумляйтесь, сударыня, ребенок понял бы, в чем дело. Нужно ли долго вас рассматривать, чтоб узнать, каким нежным, пугливым, утонченным характером вы обладаете? Но я умолкаю. Моя цель не в том, чтобы повторять вам вещи, которые другие, должно быть, говорили вам очень часто. Она в том, чтобы вас освободить. Я спускаюсь, я выгоняю этого интригана...

— О, нет!—воскликнула мадам Вусюр, сразу огорчившись при мысли о том, что в такой чудесный день придется обидеть человеческое существо.—Подумайте только! Бедный человек! Надо же, чтобы кто-нибудь мыл стаканы и стряпал.

— Действительно, надо, чтобы кто-нибудь исполнял эту работу,—согласился г. Зомпс.

И, сбежав по витой лестнице с ошеломляющей стратегической быстротой, очутился среди залы, где Лупатто уже обсуждал событие с тремя грузчиками,

отстранил этих господ, схватил иллирийца за ворот пиджака и, глаза в глаза, изложил ему, не допуская возражений, какую долю власти и труда он ему предоставляет, он, Константен Зомпс, официальный управитель г-жи Вусюр: то-есть пятьдесят франков в месяц вместо двухсот, которые тот себе назначил, и скромные обязанности судомойщика и повара. Рассуждать было нечего: или это, или изгнание! Данте согласился, подавленный навсегда.

Одним прыжком Константен снова очутился в комнате мадам Вусюр и в нескольких очень торопливых словах объяснил ей преимущества решения, которого он добился, благодаря своей молниеносной дипломатии: за ту же сумму в двести франков она имела, таким образом, в качестве личного состава, не только судомойщика, но судомойщика (сокращенного до пятидесяти франков) и управителя (довольствующегося ста пятьюдесятью), совершенно светского человека, который, кроме всего, очень скоро сумеет вернуть «Большому Кафе Трех Наций» престиж, подобающий заведению с таким величественным именем.

Потом он попросил ее чуточку приодеться (о! пу-стак, облачко пудры на щеки, розу в волосы) и спуститься с ним погулять. Был восхитительный час, позолоченный весенними сумерками, которые заставили бы поверить в счастье.

Мадам Вусюр никогда не бывала так изумлена. Г. Зомпс, любезный, почтительный, щедрый на живописные рассказы и острые замечания, заставлял ее мимоходом любоваться мужественной красотой мужчин, детей римской расы, изяществом девушек, прелестью фонтанов, свежей зеленью платанов, великолепием солнца, укладывающегося спать над морем в багряную постель, посланную облаками. Наконец,

хотя сам он был продуктом скептической и сухой эпохи, он захотел проводить набожную особу в знаменитую церковь, столь желанную, где стоял возле нее во весь рост, серьезный и задумчивый, в то время как она, повергшись к ногам св. Антония, своего патрона, благодарила его за то, что наконец нашла даже не потерянное, а такое, чего никогда не имела (г. Вусюр почти не считался...)—покровителя.

С тех пор она вела, действительно, чудесную жизнь, в которой неизвестно было, что очаровательней: независимость или комфорт. Г. Ззомпс взял на себя все. Он подавал солидным потребителям и при случае мужественно состязался с ними, со стаканом в руке; он пополнял погреб, следил за тем, чтобы все было чисто и в порядке. Он заново перекрасил зал, заменил старые серные спичечницы произведениями нового искусства, сверкающими и извилистыми, завел ассортимент иллюстрированных журналов, шахматы, шашки, триктрак—словом, все нужное, чтоб привлечь и удержать блестящую клиентуру. Извозчик, конопатчик, матрос сменились понемногу хозяином рыбного промысла, отставным военным, буржуа. Для «господ» был маленький закоулок, отгороженный ширмой, с цветами на столиках, куда никогда не допускался паршивый Лупатто, даже чтобы принести полынной. И вся работа мадам Вусюр, еще более свежей, еще более круглой, еще более улыбающейся, еще более вечной, чем всегда, заключалась в том, чтобы во время закуски иногда появиться за прилавком и получить приветствия завсегдатаев.

Потом, когда элегантный час кончался, пускали Данте удовлетворять требования гостей, не имеющих значения, и сами удалялись. Сладкие часы забвения! Воскрешение снов юности!..

С каждым днем весна укреплялась в своем царстве, становилась все нежней, все вкрадчивей, все лукавей! Если обыкновенные мужчины и женщины способны забыть свой возраст, когда говорит эта волшебница, как могла помнить о нем Антуанетта Вусюр, у которой никогда не было возраста? Не было ли в ее лице что-то неизменяемое, как в лицах идолов? И даже помимо всего этого, разве один г. Ззомпс, своими речами...? А он был ужасно убедителен, этот г. Ззомпс!

Первые дни он держался в границах церемонной и сдержанной любезности, но мало по малу его манеры стали более гибкими, более свободными. Какая-то нервность по временам внезапно искажала его черты, останавливала движение его руки. Наконец, однажды вечером, после короткого ливня, который усилил до дурноты запах мимоз и моря, его тайна вырвалась наружу:

— Вы может быть, спрашивали себя иногда,—сказал он,—почему я так стремился попасть в Сент-Ориоль, почему я ради этого бросил положение, которое занимал у г. де Торвиля, будущность, которую он мне предлагал. Правда, я догадывался, что вас преследуют, а у Ззомпсов всегда было рыцарское чувство, которое толкает их на защиту слабого против сильного. Но в данном случае было нечто другое... было... Вы не угадываете?

— По правде говоря, нет!—лукаво сказала мадам Вусюр.

— Когда я встретил вас у Торвилей, я сразу же угадал, кто вы, несмотря на скромность вашего положения. Что говорю я? Я находил что-то насмешливое, что-то шуточное в самом этом положении. Казалось, я познакомился с переодетой феей... И тогда

я сказал себе: «Эта женщина, эта женщина—та, которую мне нужно...»

— Но, г. Константен...

— Тс! Антуанетта, дайте мне продолжать... иначе, я боюсь, моя ужасная застенчивость опять овладеет мной и запретит говорить... Итак, сказал я себе: «Эта женщина—та, которую мне нужно», но вы внушали мне такое почтение, что я не смел вам этого сказать и что, в конце концов, бежав в Сент-Ориоль, вы ускользнули от меня.

— Вы, значит, знали, что я еду в Сент-Ориоль?

— Провидению, которое охраняет сильное чувство, было угодно, чтобы, каким-то чудом, я был там в тот день, когда г. аббат Журдин (ах, я проклинал его тогда, этого святого человека!) испросил для вас у мадам де Торвиль заведывание «Кафе Трех Наций». Я сперва был подавлен вашим отъездом... Потом я пришел в себя, желание быть возле вас сменило все прочие намерения. И вот тогда я стал добиваться чести догнать вас, надеясь, что в Сент-Ориоле у меня будет больше смелости... Только сегодня... Но пойдемте под эти прекрасные платаны, чья таинственная тень так нежна... Только сегодня...

— Да?..

— Только сегодня, Антуанетта, я осмелился наконец открыть вам правду. Антуанетта, я люблю вас...

Этому признанию и еще более пламенным, которые за ним последовали, полным ласки движениям, которые были их естественным аккомпаниментом, всей игре обольщения, которую разыграл обворожительный доктор-грек, Антуанетта Вусюр противопоставила хитрости очень милого, но в сущности очень слабого кокетства... И вскоре она оказалась побежденной. Она попробовала, правда, (последняя защита изнемо-

гающей стыдливости), поставить между собой и не-исправимым преграду брака. Константен согласился, что ничего нет естественнее для честного сердца, чем такое требование, и покаялся его уважать, хотя ему пришлось бы «испытать агонию», но в то самое время, как его рот произносил эти торжественные обещания, все движения, казалось, были заняты их опровержением; так что, обезумев, пьяная от ароматов и слов, потеряв голову, бедная Антуанетта Вусюр сдалась в той самой комнате с морскими медальонами, куда ее недавно ввел отвратительный Лупатто...

... Маленький кораблик, на конце нитки, плыл в небесах, в то время как (похожие на черепа четырех благосклонных голов китайских мудрецов) четыре страусовых яйца, тихо покачиваемые средиземноморским ветерком, казалось, неопределенно одобряли эту слабость, такую сладкую, такую естественную, такую простительную...

Отныне, существование мадам Вусюр стало совершенно райским, настоящим купанием в волнах Леты. Она больше не знала, где она: в Сент-Ориоле, в Чандарнагоре, в Самарканде, в кафе, в саду Альгамбры, в фарфоровом павильоне. Она была в любви, и это было чудесно. Константен властвовал над нею, управлял ею, нес ее. Константен был героем, полубогом. И каким галантным человеком в то же время! Чтобы не скомпрометировать ее, он никогда не ночевал в кафе. Каков бы ни был час (нередко освещенный за-рей), когда он покидал Антуанетту, он являлся показаться в комнате, которую нанял на Высокой улице; а также и слышать не хотел о прибавке, невзирая на то, что выполнял большую работу. Зато она и

доверяла ему вполне. Он теперь ведал кассой, — с какой добросовестной точностью!

А сколько прелестных выдумок! Сколько тонких мыслей!.. Когда, стыдливая и краснеющая, влюбленная снова заговорила о браке, он объяснил, что предпочел бы подождать, чем позволить любому священнику благословить их союз. Он суеверно хотел аббата Журдина:

— Не он ли, моя дорогая, сам того не зная, был нашим провидением? Только он повенчает нас. Еще несколько дней, и мы поедem в Марсель и бросимся перед ним на колени. Надо только привести в порядок несколько неотложных дел.

Антуанетта в восторге подчинилась.

Эти неотложные дела заключались в просьбе о маленьком авансе у мадам де Торвиль. Улучшения, произведенные Константенom для поднятия ценности предприятия, не могли быть выполнены без некоторых расходов. Кроме того, важно было обновить инвентарь, настью уже пришедший в негодность, пополнить опустошенные запасы провизии, закупить кое-какие тонкости для избранных клиентов. Как раз через Сент-Ориоль проезжал маклер, который предлагал замечательный товар по случаю, за четверть цены. Прибыли же, хотя и хорошей, было все-таки недостаточно для покрытия этих чрезвычайных расходов. Все это он объяснял в длинном письме, которое продиктовал Антуанетте и которое было отправлено мадам де Торвиль, как всегда, через посредство аббата Журдина.

Покорная, уже наученная долгим опытом считать, что дела требуют ряда жертв раньше, чем принести результаты, Поль послала мадам Вусюр просимые шесть тысяч франков. И делая это, она улыбалась,

так была привлекательна и заманчива картина «Большого Кафе Трех Наций» и избранного общества, его посещающего, нарисованная г. Ззомпсом, и будущее Алексиса казалось, при столь блестящих предзнаменованиях, таким обеспеченным и верным.

ГЛАВА II,

В КОТОРОЙ Г. СЕРБЕК ПОТРЯСАЕТ СКЛЯНКОЙ ОПИУМА.

Три первые недели апреля не принесли существенных перемен в положении г. де Торвиля. В этом дела похожи на политику и на войну: у них есть критические моменты, когда события несутся с ужасной быстротой, и периоды затишья, когда ничего не случается... Но что готовится!..

Изумление, которое Симон проявил по поводу исчезновения «нравственной опоры», было острым, но кратковременным. В конце концов, люди на земле имеют право, как и планеты на небосклоне, позволять себе затмения, частичные или полные. Константен Ззомпс нашел удобным убраться, посетить родную страну по семейным делам (таково было, как вы помните, его официальное объяснение), — отлично! в добрый путь! его возвращения подождают. Это был, конечно, человек приятный, но не необходимый. И он не уносил с собой никаких компрометирующих секретов.

Поль благословила небо, видя оптимизм, с которым ее муж встретил эту новость. Застенчивая и впечатлительная, она бы не вынесла слишком точных впросов, слишком настойчивого удивления. Если бы только Симон спросил даже просто в воздух, даже

просто не ожидая ответа: «Странно! И вы его не видели? Он не приходил сегодня утром?»—она бы покраснела, она бы смутилась, может быть, открыла свое невинное соучастие, а также секрет более существенный: участие в предприятии аббата Журдина. К счастью, вопрос этот не был задан, и Поль ограничилась волнением.

А затем у Симона были другие заботы, более важные. Четыре дня спустя после знаменитого утра, когда мадам Брусваль и полковник Жандебьен выказали такую щедрость, в тот неопределенный час, из-за чести окрестить который спорят собака и волк, на улицу Республики явилась таинственно закутанная в вуаль дама. Она проскользнула в рабочий кабинет г. де Торвиля и, не считая нужным представиться, не отвечая на вопросы, которыми забрасывал ее собеседник, протянула ему письмо. Тогда он почтительно склонился, передал безмолвной посетительнице конверт с пятьюдесятью тысячами франков и проводил ее до дверей с такими предосторожностями, как если бы она была тенью, которую он боялся разрезать пополам слишком резким движением. Впрочем, то, что уносила эта неосоздаемая посланница, было вполне реально и, не чувствуя его в своем внезапно облегченном бумажнике, Симон испытывал странное ощущение, будто все сорок два подписчика, назидательному примеру которых так живо захотел последовать полковник, растаяли, нелепо заявляя о своем небытии.

К счастью, имелись мэтр Тарпвё и г. Муази, в чьем обществе он легко нашел утешение, в котором нуждался. Эти два шахматных чемпиона были совершеннейшими олицетворениями спокойствия, какими

только можно украсить кафе. Они встретили своего покровителя ласково, с успехом заменяя Константена Зомпса в роли «нравственной опоры», которую ветренный доктор-грек, очевидно, нашел слишком тяжелой для своих слабых плеч. Они, не правда ли? не имели никаких оснований верить в бегство сорока двух подписчиков. Поэтому они вволю наслаждались тем, что говорили о них, рисовали себе их социальное положение, их привычки, их причуды. Симон поддерживал их беседу. Никогда еще три человека, сидя за мраморным столиком, не охотились с таким увлечением, в таком блестящем обществе.

Между тем пришли, наконец, вести от Паскаля. Письмо, написанное через несколько дней после его прибытия на место, содержало интереснейшие подробности из новой жизни архитектора:

*Берег Мертвого моря,
Устье Иордана.
3 апреля...*

Страна, в которой я нахожусь, мой дорогой Симон, была бы страной дикарей, если бы здесь имелись дикари. Но здесь никого нет. Надо поистине страдать манией построек, чтобы забрать себе в голову воздвигнуть монастырь в таком месте. Но когда знаешь нашу тетку, эту отличную женщину, то понимаешь. Ах, это достойная сестра Батильды, помешанной на заработках. Я не взялся бы разгадать, каким образом собралась она здесь, на краю света, всех этих бедуинов и все эти камни. Факт, что они тут и что она заставляет их здорово работать, несчастных (я говорю о бедуинах), в то время как монахи, те заняты тем, что спят или перебирают четки

в палатках, которые служат им жилищем, пока здание не окончено.

Мать Сент-Ансельм—женщина с головой, она все предусмотрела, даже капеллана. Она нашла на эту должность некоего страшного дылду, сирийского борца, который уже три раза переходил из православия в католицизм и *vice versa*, не считая трехмесячного дополнительного пребывания в латеранской ереси, за десять франков в день. Мошенник, но молодчина и такой ярый охотник, что, когда нет дичи, охотится на людей. Отслужив обедню (и надо видеть как!), он снимает сутану, заменяет ее чем-то в роде костюма каубоя, надевает через плечо свое верное ружье, берет дубину и, несмотря на жару, от которой вспотел бы скарабей, отправляется в путь. Как он поссорился с попом, который хотел построить на том берегу Иордана конкурирующее учреждение!.. Он соорудил нечто в роде пироги, переплыл реку и явился вызывать противника на бой. Поп, ошеломленный, заявил, что пожалеется иерусалимскому патриарху, турецкому губернатору, немецкому консулу. Сириец вместо ответа ограничился тем, что залепил ему основательную затрепину, что и повторял каждый день в течение недели. Тогда испуганный поп исчез со всем своим племенем и скрылся в окрестностях Иерихона. Позиция, бесспорно, осталась за нами. Мать Сент-Ансельм в восторге от своего капеллана.

Она в таком же восторге и от своего архитектора. Я состряпал ей монастырь по последней моде, с риполиновыми кельями, с ацетиленовым освещением, с калорифером и т. п., и монашки будут дьявольски капризны, если не почувствуют

себя в нем счастливыми, как гусыни на откорме. Правда, панорама не отличается веселостью, но баптистандинки должны уметь увеселяться не многим: проходит верблюд, идет дождь (два раза в год), устраивается рыбная ловля на Иордане, вот здоровые развлечения! И притом мать Сент-Ансельм не остановится на этом. Когда монастырь будет окончен, она хочет дополнить его образцовой фермой на самом берегу реки, которая силой течения будет приводить в движение машины. Она считает, что количество верблюжьего молока, пропадающего за год в Южной Палестине, безумно. Она собирается скупать это молоко у соседних стад, у проходящих караванов и превращать его в масло. Хорошо просоленное, это масло почти не подвержено порче. Она сможет снабжать им всю Азиатскую Турцию. Таким образом, состояние баптистандинок обеспечено. Хорошенькое чудо в придачу (а отец Сосипатр—так зовут неопикуемого капеллана—не отчаивается заполучить таковое, да еще самое внушительное, в нужный момент), и Зорский монастырь на пути к тому, чтобы стать первым в стране. В тот день многие в Яффе, Бейруте, Смирне и даже в Марселе увидят, что стать компаньоном матери Сент-Ансельм было благим делом. Так как, уверенная в успехе, она, не колеблясь, берет взаймы под тридцать пять и сорок процентов, бог ее храни!..

Мой сердечный привет вам обоим, мой дорогой Симон. Крепкий поцелуй малышу. Скажите ему, что, если он будет умником, я пришло ему молодого ястреба, которого убил отец Сосипатр и из которого я делаю чуело.

Твой любящий брат Паскаль.

Р.С. Что озеро Фатима? Двинул ли ты это дело? Удалось ли г. Фюмаду выполнить мои планы? Ты знаешь, я не вкладываю в них артистического тщеславия. Он может изменять постройку по своему усмотрению... Напиши мне также о Зомпсе, Сербке и т. д.

II.

Симон не успел вдоволь насладиться перспективами, которые приоткрывало перед ним это волнующее послание, так как едва он дочитал последние строки, как вошла Катарина, по привычке не постучав.

— Это г. Сербек!—доложила она. И отошла, чтобы пропустить извивающегося человека.

Г. де Торвиль невольно вздрогнул. Вид этого господина был ему до-нельзя неприятен. Он часто называл его своим злым духом (их отношения завязались во времена гораздо более отдаленные, чем эпоха фосфата) и все же был бессилен перед подстрекательствами ростовщика. Тем не менее на сей раз он дал себе слово быть энергичным и встретил Сербека свысока:

— Я должен вас предупредить, г. Сербек,—сказал он,—что мои минуты драгоценны. И я буду вам очень благодарен, если вы сейчас же приступите к предмету вашего визита.

Но г. Сербек на-все имел ответ. Он подмочил свой голос несколькими слезами и начал:

— Ах, дорогой г. де Торвиль, кажется, я никогда не найду слов, способных изобразить печаль... разочарование... горе, которое причинило мне ваше поведение...

— Что значат эти сетования?

— Подослать ко мне г. Константена Зомпса от имени акционерного общества, чтобы купить у бедного старика, обезумевшего от нужды, кусок земли, ценности которой он не знал, и потом с театральным эффектом, который разорвал мне сердце, дать мне знать, и что земля эта не имеет цены, и что акционерным обществом прикрывался г. де Торвиль, вот это называется одурачить и основательно одурачить...

— И ваша фраза основательно сумбурна... Но я приблизительно схватываю, что вы хотите сказать. Вы считаете, что вас одурачили, потому что вы продали за сто пятьдесят тысяч франков имение, за которое никто не думал предлагать вам и су, и кроме того получили даром пай подписчика?..

— Никто не думал мне что-либо за него предлагать, потому что никто не знал его ценности. Но вы знали. Откуда?—мне неизвестно. Все-то и так слишком тягостно. Но вот, все-таки не это огорчает меня. Что меня огорчает, что меня мучит, это ваше недоверие. Если бы вы пришли к вашему другу Сербку, открыли бы ему свое сердце, сказали бы ему: «Мой дорогой и великий друг, мне хочется организовать охоту в вашем алжирском имении, но у меня, разумеется, нет средств купить его у вас», я бы вам ответил: «Отлично, будьте там, как дома. Мы разделим барыши». И вам, таким образом, ничего не пришлось бы тратить.

— Позвольте... Что дает мне право верить?..

— О, ничто!—воскликнул г. Бертран Сербек с горечью, которая разжалобила бы носорога,—ничто не дает вам права верить в какие-нибудь честные и разумные чувства с моей стороны, решительно ничто. И поэтому вы действовали исподтишка, вместо того,

чтобы прийти ко мне открыто... О, боже,—продолжал он, подняв глаза к небу, чтобы показать, что он расширяет спор и ставит его высоко над эпизодом с озером,—о, боже, как тяжело вечно жить никем непонятым, в полном душевном одиночестве!.. А я надеялся, когда встретил вас...

— Я сожалею,—начал Симон, смутясь...

— О, нет, не теперь! Не надо говорить теперь, что вы сожалеете. Слишком поздно. Дело постоит на основаниях, которые вы сами заложили: повидимому, вы находили их прекрасными. Мы так их и сохраним. То, что я говорил, было чисто психологическим. Это, если можно так сказать, оттенки сердца... не будем об этом говорить.

— Хорошо! Но тогда зачем вы пришли ко мне?

— Я просто сказал вам, что я страдал, много страдал. Что вы хотите? Люди бывают чувствительны и нечувствительны: это склонность темперамента, которую невозможно изменить. Мне тем более можно простить такое душевное движение, что это с моей стороны чисто нервное явление, вызванное встречей с человеком, который проявил ко мне недоверие. Но я, напротив, пришел вас поздравить...

— Поздравить меня? С чем?

— С феноменальной быстротой, с которой вы собрали первые подписки.

— Откуда вы знаете?

— Да об этом только и говорят. Этот успех сделал больше для вашей репутации businessman'a, чем самые трудные работы, самые остроумные доклады, которыми вам были обязаны до сих пор. Я хотел присоединить свой голос...

— Это все?

— ... присоединить свой голос к этому хору

и сказать вам, как я польщен тем, что тоже принадлежу к этой фаланге, причем...

— ... Причем это вам не стоило ни сантима, совершенно верно. И это опять-таки все?

Тут всю особу г. Сербека свело. То, что он хотел сказать, не «лезло». Наконец, он с трудом извлек из себя:

— Мне также казалось... что я бы мог... может быть... открыть вам...

— Открыть мне?.. Ну, кончайте же.

— ... нужду, в которой я нахожусь,—докончил г. Сербек низким, быстрым, горестным голосом. — Да, я знаю, вы упорно считаете меня богачем... несмотря на все признания, которые я вам делал по этому поводу. Вы воображаете, что, не желая трогать сумм, отложенных для моих операций, я совершаю невозможное, чтобы получить при помощи... скажем, эмпирических способов, деньги, необходимые для оплаты моих частных нужд: короче, что я нищенствую, чтобы лучше скрыть свою игру. Истина более серьезна. Она ужасна, мой дорогой друг, она отвратительна. Истина в том, что я беден, жалко, мрачно беден, беден, как приходский слепой, беден до того, что готов просить два су, вечером, на углу улицы.

Он передохнул, вытер две огромных слезы ярким и широким, как знамя, платком, подавил несколько рыданий и заговорил опять, раньше чем Симон успел вставить слово:

— И я осмелюсь добавить, что это отчасти из-за вас.

— Нечего сказать!..

— О, я вас не обвиняю. Вы создали это плачевное положение вещей не по вашей полной и свободной воле. Но слушайте: если бы я вам не продал,

при обстоятельствах, которые вы знаете, мои залежи фосфата, потом мое озеро, т. е. если бы я не лишился в вашу пользу—и с тем, чтоб, получить деньги в сроки, которые еще не настали—всего, чем обладал на земле, я бы имел впереди что продать, правда, дешевле, правда, за кусок хлеба, но (и здесь г. Сербек встал, чтобы придать своим словам возможную торжественность) мои дети требуют у меня сегодня этот кусок хлеба, а я перед ними, как пеликан, вернувшийся без рыбы... Если бы, несмотря на мое неверие, несмотря на мои сомнения, я не верил в нечто в роде будущей жизни... ах, мне кажется...

— Но что я могу сделать?

— Что вы можете сделать?.. О, г. де Торвиль, послушайте, мне ли вам подсказывать? Когда у вас тут больше пятидесяти тысяч франков (весь «Глетчер» слышал, как они шуршали у вас в руках), которые в конце концов вам доверили для ликвидации Фатимского вопроса!

Симон, чрезвычайно смущенный, не знал, что ответить. Он не мог выдать ни Арауканского короля, чей заговор мог рухнуть из-за этой нескромности, ни сорока двух подписчиков, чью радость, позднее, на обильных берегах этого волшебного озера он с таким удовольствием себе воображал. Он слукавил:

— Эти пятьдесят тысяч франков мне не принадлежат. Кроме того, что я внес их моему нотариусу, ведь они предназначены на путевые расходы моих охотников.

— И на погашение покупной цены.

— Нет. Погашение—в будущем. Я не могу рисковать результатами из-за расплаты с долгом, таким еще далеким.

— Допустим. Но нет ли возможности рассматри-

вать хотя бы взнос полковника Жандебьена, как сверхсчетный? Вы так легко найдете эту сумму...

Г. де Торвиль невольно поднес руку к месту на груди, занятому бумажником, где хранился последний запас наличных, которыми он обладал тысяча двести франков полковника. Удастся ли магнетизму гнусной змеи, свернувшейся здесь перед ним, извлечь их из их убежища? Он сопротивлялся:

— Нет,—сказал он очень твердо.—На это рассчитывать не надо.

В теле у ростовщика было и без того немного позвонков. Те, что оставались, обрушились, и уже из развалившейся, бесформенной желатиновой массы Симон услышал стоны:

— Раз это так, раз единственный человек, на которого я рассчитывал, отказывает мне в поддержке (и этот человек впоследствии построит свое богатство на моем разорении), раз все меня покидают, не к чему хотя бы еще час оспаривать у смерти добычу, которую она уже чувствует, мерзкая и грозная. Моя вдова пойдет в поденщицы, мои дети отправятся в приют. А я, я отказываюсь, я наконец отрекаюсь, без сил. Приди, опиум, последний друг тех, у кого нет больше друзей, цикута современного человека...

И в сардоническом порыве:

— Я подымаю мой флакон за ваше процветание, г. Симон де Торвиль. Прощайте!

Он сказал, откупорил маленький пузырек, на котором красными буквами блестело таинственное и сладкое имя Сайденэма ¹⁾, и поднес его к губам. Симон вскочил. Произошла короткая борьба. Скланка

¹⁾ Знаменитый английский врач (1624—1689). (Прим. пер.).

разбилась, разливая на пол и на одежды противников тяжело и приторно пахнущую жидкость.

— Вы хотели покончить самоубийством у меня?.. Это шантаж!

— Отлично!—возразил самоубийца с душой раздирающим упреком. — Яд был удобнее, я бы сказал—приличнее. Но раз вы мне его запрещаете, у меня нет выбора... Остается только Старый Порт.

Симон начал беспокоиться. Негодяй был на все способен. Конечно, не убить себя. Но было бы уже достаточно, если бы он бросился с набережной Братства в очистки капусты и апельсиновые корки и, вытащенный первым попавшимся чистильщиком сапог, объяснил причины своего отчаянного поступка, назвал виновника... Было бы чем убить пятьдесят подписчиков в зародыше...

— Во сколько,—спросил он, насмешливый в свою очередь,—оцениваете вы мое право на вашу жизнь?

— Нищий на паперти не оценивает: он умоляет...

— Но все же?..

— Все-таки пятьдесят луи...

— Двадцать пять. Это все, что я могу вам предложить, разоряясь в конец. И вы дадите мне расписку в зачет первой уплаты за озеро.

— Я побежден, я в петле... Я не могу возражать. Где расписка?

И г. Сербек жестом Наполеона в Фонтенбло написал бумагу, протянутую ему г. де Торвилем. И тот, со смертью в душе, впервые притронулся к капиталу Общества. Отныне у него оставалось всего на-всего семьсот франков, чтобы довести до конца это предприятие. Решительно, ему теперь придется рассчитывать больше всего на свой гений.

ГЛАВА III

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА.

Однажды вечером, два или три дня спустя после того, как Поль послала в Сент-Ориоль деньги, нужные для снабжения «бара» припасами, ей вздумалось зайти за Алексисом в школу, чтобы прогуляться с ним. Очень вялая, очень анемичная, Поль почти никогда не выходила. К тому же у нее были особые вкусы. Она любила не широкие аллеи, посаженные платанами, не солнечную Корниш на берегу звучного морского сапфира, не деревни в тени зонтичных сосен или под серебряной пылью олив, еще меньше того улицы, полные шумным и слишком веселым людом, нет; ей нравились старые кварталы, жалкие и заброшенные, цвета черной грязи, которые кажутся спящими уже сто лет; Плоские Камни, где летними ночами при лунном свете и звуках мандолины купается странное скопище подростков, худых и гибких, похожих на выходцев с того света; забытые церкви, наполовину вросшие в землю или, напротив, взгромоздившиеся на горных, извилистых тропинках; все стародавнее, неведомое, покинутое и бедное. Она не решалась просить своего супруга, слишком занятого к тому же, сопровождать ее в эти необычайные места. Но, так как дорога, которой ее сын ходил в школу, как раз вела через такой лабиринт, ей иногда приходило в голову побродить с ним там. Чего только они не открыли вдвоем и каких только у Алексиса не осталось воспоминаний, навсегда таинственных, как о том монастыре, куда они проникли в день крестного хода и где увидели, посреди совершенно пустой, узкой

и низкой залы, воскового младенца Иисуса в парадной колыбели из цветов, окруженного свечами и корзинами с хлебами... От кого были эти приношения? Что за монахи, покорные обету вечного исчезновения, жили, дышали вокруг этой душной и благоухающей залы, выходящей в темный переулочек, где протекал красный ручеек дубильной жидкости? Всюду виднелись отлого идущие переулочки, дряхлые дома, жители которых спускали на веревках из окон корзины для провизии, тут же наполняемые разносчиком; часовни, закоптелые от грязи и ладана, посещаемые только нищими; живописные лавки публичных писцов и сапожников, покинутые заводы с окнами без стекол и как бы пропитанные пылью.

В тот день Алексис надолго задержал свою мать на Кармской площади перед шарманкой с плясунами обезьянами. Бедные животные, одетые в крапчатое, исполняли на ящике инструмента неистовые пиррические танцы и с такой яростью и в то же время с таким отчаянием вертели кофейные мельницы и трещотки, которые силой им совали в лапы, что, казалось, от этого зависела их жизнь. И в то время, как они так бесновались, с чудесными золотистыми глазами, полными тоски по солнцу и ласкам, шарманка играла прыгающие и фальшивые вальсы, но такие нежные и легкомысленные, что сжималось сердце.

Незабвенные прогулки!..

Но вот, едва покинув фигляра и его воспитанниц, Поль и ее сын встретили г. аббата Матиаса Журдина, вернее—столкнулись с ним. Это духовное лицо, действительно, было так погружено в думы, что, казалось, искало на асфальте тротуара следы какого-то

безвозвратно потерянного каравана. Он шел, опустив голову, с молитвенником в руке, заложив указательным пальцем страницу, на которой он прервал чтение. Он выпрямился, немного оторопелый, и, быстро овладев собой:

— А, — воскликнул он, — я очень счастлив видеть вас сегодня, сударыня, тем более, что...

И, так как Поль смотрела на него вопросительно, добавил смущенно:

— Тем более, что, мне кажется, я целую вечность не имел этого удовольствия.

— Но, — заметила мадам де Торвиль изумленно, — всего только в прошлый вторник вы заходили к нам по делу мадам Вусюр?..

Аббат поднес руку ко лбу, как бы вытирая холодный пот и в то же время удерживая рассудок, грозящий ускользнуть.

— Ах, да! Ах, да! Действительно! — воскликнул он...—Где, чорт возьми, была моя голова?.. Надо признаться, что временами из-за всего этого переутомления... я больше не знаю, я... Послушайте, моя дорогая прихожанка, это место мне кажется не особенно удобным для сколько-нибудь важного разговора. Окажите мне честь посетить завтра около двух часов мой скромный home. Мне как раз нужно поговорить с вами о деле, для которого...

И, только теперь увидев Алексиса, он продолжал без перехода:

— Как поживает милое дитя? Отлично учится, по-прежнему?.. Вы захватите его с собой, не правда ли? Я уверен, что ему доставит удовольствие посмотреть альбомы с картинками, поучительными и интересными...

— Но, — возразила Поль, — завтра суббота... Алексис в школе.

— Ах, верно!.. Чудесно!.. Где моя голова, еще раз? Простите меня, пожалуйста. Завтра вы узнаете причины этого волнения, этого... Но вот и моя дверь... Я вас покидаю до... До завтра, до завтра, непременно.

И он исчез в своем коридоре, к великому изумлению мадам де Торвиль, которая не привыкла к таким манерам и была слегка обеспокоена. Она вернулась к себе в молчании, а сын сопровождал ее, полный уважения к ее размышлениям. Впрочем, с ним она могла быть спокойна: понял он или нет, он никогда не задавал вопросов, никогда не говорил. Это был самый нелюбопытный ребенок, какого только можно себе представить. Ничто в странных словах аббата его не заинтересовало, потому что он угадывал, что они касались дел взрослых, неинтересных для детей.

Поль, напротив, провела скверную ночь, спрашивая себя о причинах невероятного поведения священника. На следующий день, ровно в два часа, она входила в его гостиную.

Дом аббата Журдина не был обыкновенным домом. Вход был с Кармской площади, но противоположный фасад выходил на закоулок Республиканской улицы, над довольно высокой стеной, так что квартира священника, хотя и была спереди в первом этаже, с этой стороны высилась над настоящей бездной. Это романтическое расположение повергало в мечтания Поль и Алексиса, которые обладали воображением и были чувствительны к внешнему виду вещей. Но аббат рассматривал свое местожительство с точки зрения гораздо более трезвой. Он жил в этой квартире, потому что, хотя и очень неудобная, она обхо-

дилась дешево и примыкала к церкви. Вообще же он устроил себе здесь самую мешанскую, самую спокойную обстановку, и гостиная, в которой он принял свою прихожанку, невероятно наводненная, прибранная, натертая, начищенная, с фисгармонией красного дерева, креслами красного дерева, покрытыми вязаными накидками, круглым столом посередине (красного дерева) и письменным столом—красного дерева—походила бы на приемную набожного дантиста, если бы не многочисленные фотографии в дубовых рамках, рассеянные по стенам.

Эти фотографии—друзей, видов или знаменитых произведений—были все подрисованы акварелью рукой самого хозяина дома и все согласно одной неизменной формуле. Так, щеки всегда были розовые, луга зеленые, памятники бурые, небеса, глаза, море и платье мадонны—голубые.

— Это, может быть, не совсем те краски, которыми пользовались Рафаэль, Анджелико и Перуджино,—объяснял художник своим поклонникам,—но, не правда ли, достаточно того, что они правдоподобны. И потом, когда нет оригиналов перед глазами, приходится комбинировать самому...

Но на этот раз, принимая мадам де Торвиль, аббат Журдин не стал терять времени и показывать ей свои последние успехи в акварели. Хотя заметно более спокойный, чем накануне, он, должно быть, был очень озабочен, так как сейчас же приступил к сущности своей темы.

— Я получил из Сент-Ориоля,—сказал он,—невероятные новости, такие, что отказался им верить. Что я говорю? Я все еще отказываюсь, решительно, всей моей волей пастыря душ. ...Это слишком ужасно.

— В чем же дело? — воскликнула Поль, уже в страхе.

— И я бы воздержался говорить об этом вам, если б мог избежать этой тяжелой необходимости... Но, в конце концов, так надо... Я получил письма, анонимные письма.

— Надо было их сжечь, — решительно возразила мадам де Торвиль.

— Я знаю, так говорят. Прибавляют даже: «не читая их». Но, чорт возьми, разве прежде, чем его прочтешь, можно сказать, анонимное оно или нет. А когда прочтешь, остается недоумение, которое стараешься разогнать, прочитав еще раз. Сомнение тогда проникает вам в душу и поселяется там, даже если вы сожгли мерзкие бумаги.

— Ну, а что же говорили эти бумаги?

— Я, конечно, смею повторить вам только их общий смысл. Выражения их таковы, что не могут быть ни произносимы духовным лицом, ни выслушиваемы дамой. Все, что я могу сказать, это что непристойности соперничают в них со сквернословием.

— ...

— Они намекают на то, что отношения между мадам Вусюр и г. Ззомпсом очень скоро перестали быть теми, какие приняты между заведывающей и лакеем. Вы понимаете?

— Я боюсь вас понять.

— Я сперва пожал плечами, шепча: «это чудовищная клевета». Но письма следовали друг за другом в умелой постепенности, сообщая подробности, приводя точные факты, которые трудно было бы придумать, отмечая, так сказать, стадии обольщения, тем более ловкого, что жертва, несмотря на чисто духовное очарование, которое распространяет

вокруг нее чистота ее внутренней жизни, с некоторых пор вышла из возраста, когда женщина может надеяться понравиться одними внешними средствами. И мне стало казаться, что это, может быть, и совсем неверно, но во всяком случае не так уж невероятно.

— Вы намекаете, что г. Ззомпс?..

— Я не намекаю, я трепещу. Действительно, кто такой этот г. Ззомпс? Знаете вы его?

— Он показывал на Дамском бульваре сирену, которая в конце концов досталась нам. Мой муж пришел от него в восторг, потому что встретил его в тот день, когда задумал лучшее свое дело. Таким образом он, так сказать, связал его судьбу со своей и сделал из него свою нравственную опору. Мы не могли им нахвалиться.

— Все равно, такая рекомендация основана скорее на предположениях. Вы не знаете, откуда он, его семьи, его знакомств... О, какая ирония, если, желая материально помочь мадам Вусюр, мы способствовали гибели ее души!.. Если б я слушался только своего сердца, я бы препоясал чресла и отправился бы, да, отправился бы... не оглядываясь... напрямик в Сент-Ориоль, я пошел бы лично удостовериться в степени падения этого бедного создания, я...

Но он не успел прибавить ни одного мазка к этой заманчивой картине апостольства, так как послышался звонок, а за ним шум спора в передней, и тотчас же, посредине гостиной, между остолбеневшими аббатом Журдином и мадам де Торвиль, рухнула мадам Вусюр, вся в черном, в слезах, подымая к небу умоляющие руки.

Потом она обхватила колени аббата, восклицая:

— Спасите! Спасите! Сжальтесь над несчастной, погибшей навсегда!

Аббат Журдин сделал по адресу своей прихожанки выразительный жест, который означал:

— Вот, вы видите? Что я вам говорил? Так и есть. Больше нет надежды.

Затем, подняв грешницу, он сказал со страдальческой кротостью только:

— Я это знал, дочь моя...

— Вы знали? Как так? Как могли вы знать о том, о чем только я одна..?

— Ах, дочь моя, у маленьких городков ужасные глаза. Они видели вас.

Мадам Вусюр снова разрыдалась. Потом, так как она не могла бесконечно оставаться коленопреклоненной на холодном полу, она встала, села в одно из кресел, окружающих столик, и, приветствовав мадам де Торвиль безмолвным поклоном, как бы говоря: «Вы простите, не правда ли, жертву жизни?», сочла своим долгом утереть глаза платком.

— Бог знает, — воскликнул аббат Журдин, — бог знает, что бы я дал, чтоб это все было только дурным сном, чтоб эти анонимные письма...

— А, анонимные письма? — подскочила мадам Вусюр. — Они могут исходить только от Данте Лупатто, судомойщика, которого выгнал Константен.

— Константен?..

— Простите меня, это имя, которое я давала тому, кто еще вчера... Но не надо меня осуждать, не выслушав. Если б вы знали, как он был скромен вначале!.. Могла ли я подозревать?.. Я была только благодарна ему. Подумайте, он избавил меня от всех забот, освободил меня от этого проклятого иллирийца, чьей жертвой я стала со дня моего приезда... Он открылся только понемногу, он просил моей руки...

— А, — облегченно сказал аббат. — Письмо этого не говорило. Он просил вашей руки...

— Да, и по своей душевной тонкости уверял, что хочет получить меня только от вас, говоря, что вы, г. аббат, были первой причиной нашего соединения.

— Гм, — вздохнул г. Журдин, заметно польщенный. Потом сейчас же вспомнил о положении вещей:

— Лицемер!

— О, да, лицемер! Он это говорил, чтобы усыпить мои сомнения.

— Усыпить ваши сомнения?.. Значит, правда? Он их усыпил?..

— Увы! Я была бедной женщиной, одинокой, без советчиков...

— Значит, это правда?

— Это правда, — прошептала в легком вздохе бедная мадам Вусюр, — я грешница. Но я хорошо наказана, что уж тут, он уехал.

— Он уехал! — взвыл г. аббат Журдин, вскочив. — Он уехал!.. И вы это говорите так просто, даже не меняя тона?.. Он уехал! Но как? И с кем?

— Ни с кем, слава богу! Это в некотором роде утешение в моем грустном положении. Но надо сказать, что он оставил меня совершенно без копейки. Он уехал с кассой. Мне удалось вернуться благодаря любезности бакалейной торговки с угла, которая одолжила мне немного денег... Это негодяй! Ах, я вижу теперь (мне кажется, так я потрясена, что я только сейчас поняла это!), что я стала жертвой пройдохи...

Аббат Журдин, такой покойный и мягкий обычно, был неузнаваем. Он ходил большими шагами взад и вперед по маленькой гостиной, со щеками, налитыми зеленоватой кровью, с дрожащими губами, со стис-

нутыми зубами, нанося ужасные удары кулаком в пустоту. Вдруг, остановившись перед старой дамой, он закричал ей в лицо:

— Но, моя хорошая мадам Вусюр, позвольте вам сказать, что я нахожу вас совершенно изумительной. Вы говорите, что ваш... управитель унес кассу, и вы объявляете об этом нам, соучастникам в предприятии, как самую простую, самую естественную вещь!.. А сколько было в этой кассе? Знаете вы об этом?

— Нет, признаться... Я перестала считать. Г. Зюмпс входил во все сам.

— Час от часу не легче!.. Г. Зюмпс входил во все! Действительно, это великолепно. Хорошо же! Я скажу вам, что было в этой кассе: было, во-первых, шесть тысяч франков, посланные вам здесь присутствующей мадам де Торвиль для покупки знаменитых ликеров, о которых вы, в согласии с вашим соучастником, писали нам, затем вся выручка, поступившая со времени открытия кафе, из которой мы не получили ни одного сантима, наконец то, что, более чем вероятно, оставалось от первоначального капитала. Вот!

Мадам Вусюр была раздавлена изумлением. Сентиментальное и мечтательное создание, она рассматривала вопрос только с точки зрения своего любовного разочарования. Эта финансовая сторона дела была для нее чем-то новым! Застигнутая врасплох, она пыталась понять, углубилась на несколько минут в размышление, прерываемое слезами, и наконец, повернувшись к мадам де Торвиль, дала волю своей житейской злобе:

— И все это отчасти по вашей вине. Я не говорю, что вы сделали это нарочно, но тем не менее вы

были всему причиной. Если б вам не пришло в голову послать г. Зюмпса в Сент-Ориоль...

— Очевидно, на это нечего возразить,—вмешался аббат, уничтожая сбитую с толку, сознающую свое преступление, Поль.—Было по меньшей мере необходимо вмешать в подобное дело третьего, тем более человека, которого вы не знали, торговца сиренами. Оценивая в четырнадцать тысяч франков (и я еще скромно) сумму, которую он похитил, я (так как мы делили доходы), я теряю чистых семь тысяч франков... Для меня это, как вы понимаете, потеря, возместить которую невозможно.

Мадам де Торвиль была в унынии. Горе этих двух существ, пострадавших из-за ее невнимания, мучило ее. Она только потом подумала о том, чего стоило лично ей это приключение. Сейчас она думала только о семи тысячах аббата, о месте и добродетели, потерянных мадам Вусюр.

— И вдобавок,—настаивала та,—я теперь без места.

— Пожалуйста, возвращайтесь ко мне...

— Да, конечно, сударыня, я вернусь, потому что нужно жить. Но вы должны понять, что это далеко не то. Когда был сам себе хозяин...

— Что касается меня,—сказал аббат с затаенной горечью,—я, конечно, ни с кого ничего не спрашиваю. Я хорошо наказан. Как ни как, кафе—место гибели, я должен был об этом подумать, и ничего хорошего выйти из него не могло. Ничего не остается, как отделаться от него; хорошо, если я вырuchu четверть того, что оно мне стоило.

И кроткий, евангельский, покорный, он сделал в сторону обеих женщин, не делая между ними различия, жест прощения, слегка окрашенный презрением,

отпустил их и снова принялся за акварель. Поль пришлось утешать мадам Вусюр, т. е. молча проводить ее домой на улицу Драгон, слушая ее жалобы. Было заметно, что, несмотря на свое горе, несчастная испытывает какую-то мрачную радость, сознавая, что обладает такой великолепной темой для сетований до конца своих дней.

— Все-таки,—заклчила она, очутившись у своих дверей,—священник не знает, что нужно сказать обманутой. Только женщина...

И мадам де Торвиль, задумчивая, отправилась домой.

ГЛАВА IV,

В КОТОРОЙ, НАКОНЕЦ, ВИДНО ВСЕ, ЧТО МОЖНО
ИЗВЛЕЧЬ ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕГО МОЛОКА.

Поль была слишком хорошей и слишком христианской женой, чтобы дольше скрывать от мужа секрет, от которого, впрочем, обстоятельства, так сказать, освободили ее. Она открыла ему все. Но Симон не мог разделить ее странной точки зрения.

— Десять да шесть—шестнадцать,—сказал он, резюмируя положение.—Значит, эти каналы облегчили вас на шестнадцать тысяч франков. Аббат Журдин находил чудесным делиться с вами, пока дело шло о доходах, но на потери он этот порядок распространять не хочет. Да охраняет господь бог своего слугителя, чтоб он не попался мне под руку посреди улицы. Я его размножу и обращаю в лепешку. Что касается мадам Вусюр, то это старая сумашедшая

от которой нечего ждать. Она может снова придти сюда плакать над бельем, которое кропает, это мне совершенно безразлично. Но я, дорогая Поль, я, что скажу я? Чтоб избавить вас от благородного искушения прийти мне на помощь в трудные минуты, я решаюсь разделить наши имущества. При самых тяжелых обстоятельствах я деликатно воздерживаюсь от того, чтобы обратиться к вам, и так-то вы меня вознаграждаете! Деньги, которых я лишаю себя, вы отдаете священнику, содержащему кабак?

Смушенной Поль очень хотелось поговорить также и о г. Ззмпсе. В конце концов, разве без него не пошло бы все хорошо? И не потому ли доверилась она греку, что Симон выказывал ему безграничное уважение? Но тот продолжал, неумолимый и насмешливый:

— Ах, милая бедняжка, единственный раз, что вы захотели пуститься в дела, вам не повезло. Поверьте мне, бросьте это и храните бережно остатки вашего маленького капитала. Для прочего, к счастью, существую я. Расчитывайте на меня.

И с мужеством, еще возросшим от уныния и разочарованности жены, он бросился в гущу дел... Нужно было одержать быструю, крупную победу, нужно было силой раздобыть подписки, чтобы образовать первую партию охотников. Нечего было обманывать себя; до сих пор, их было только двое: г. Сербек и полковник Жандебьен. Этого было недостаточно. Доклады, отчеты, проекты, описания, записки, диссертации, планы, которые г. Марийос Фюмад аккуратно присылал в своих письмах каждые две недели, и которые изображали берега озера Фатимы, как все более и более волшебную и идиллическую область, как пастушеский рай, подвластный посоху Си-Бу-Бекра, эти доклады раз-

жигали в высшей степени деятельность г. де Торвиля.

Так как марсельцы, видимо, не спешили воспользоваться преимуществами, которые он им предлагал (а ведь каждый из них получил на дом рисунок с тысячью зверей и самый заманчивый проспект), он обратил свои взоры в другую сторону, полный презрения к этим требовательным Тартаренам, годным разве для прогулок в гетрах по своим выгоревшим полянам в поисках за чахлой каменной или тощим кроликом. Ему пришла мысль искать соучастников заграничей. В чем он и открылся своему брату:

Марсель, 3 мая 18. . . .

Дорогой Паскаль,

Месяц тому назад, день в день, ты написал мне свое последнее письмо, на которое я отвечаю только сегодня, так как с той минуты, когда я имел удовольствие его получить, у меня фактически не было свободного времени. Отсюда ты поймешь, как я занят.

Я прочел с нескончаемым интересом рассказ твоих приключений на берегу Мертвого моря. Я хотел бы познакомиться с этой страной, ее суховатая живописность несколько меня не страшит. Этот отец Сосипатр! Вот энергичный парень! Все же, посоветуй матери Сент-Ансельм не слишком ему доверять. Если когда-нибудь его рука окажется чересчур тяжелой, могут возникнуть большие неприятности для всех вас. Но как вы забавляетесь, должно быть, среди всех этих событий! Вы вольно дышите, вы чувствуете, что

живете. В конце концов, я надеюсь когда-нибудь, прикончив все мои занятия, позволить себе маленькое плавание в сторону Хайфы и в одно прекрасное утро, когда вы меня не будете ждать, высажусь на ваших берегах. Но пока до этого еще далеко. Напротив того, я все больше и больше занят, предприятия, которые лежат на мне, становятся все сложнее и сложнее; я как раз хочу поговорить с тобой о них. Но будем действовать по порядку.

И прежде всего — озеро Фатима. Крупное дело. Каждый день новые возможности открываются моим глазам, каждый день становится очевиднее значение того, что (благодаря тебе, я этого никогда не забуду, и вопреки гнусному Сербеку, накази его бог!) я открыл в нашей прекрасной африканской колонии. Несколько дней спустя после твоего отъезда, такого поспешного, увы, что мне кажется, будто я не простился с тобой, г. Фюмад в свою очередь покинул нас. Здесь ты видишь копию первого письма, которое он мне написал. Забавно — не правда ли? — это первое столкновение мечтателя, философа, созерцателя с действительной жизнью. Легко различить, под немного деланным изяществом его фраз гуманиста, искренность его изумления, его восхищения.

Но я посылаю тебе дубликат этого любопытного послания не только с целью развлечь тебя. У меня есть еще и другая цель. Дело в том, — как ты угадал, — чтобы заполучить подписчиков, ибо здешние далеко не торопятся. Ты поговоришь серьезно с нашей теткой, покажешь ей письмо г. Фюмада и дашь ей все объяснения, какие можешь дать ты, который видел страну озера Фатимы.

Я убежден, — мало того, — я уверен, что, если нельзя быть пророком в своем отечестве, есть много шансов стать им в другом месте. И если здесь я с трудом нахожу людей, способных меня понять, я уверен, что там встречу их в изобилии. Пусть она придет мне на помощь. В конце концов, после Батильды, я ее ближайший родственник. Пусть она ищет мне охотников. Ведь ты, кажется, говоришь, что Палестина — бедная страна, груды сероватых утесов, пересыпанных несколькими шакалами и еще более отталкивающими паломниками. Поэтому тамошние охотники, должно быть, очень несчастны и желают одного: перенести свои шалаши в другие места. Когда они узнают о существовании моего озера, они устремятся туда ураганом. И потом, убежденные матерью Сент-Ансельм...

Само собой разумеется, что я сумею отблагодарить за такие услуги. Я буду вычитать пять процентов с каждой подписки, исходящей от нее, и позволю себе внести эту лепту на постройку Зорского монастыря. Заметь, что этим не следует пренебрегать. Пусть только она достанет мне пятьдесят подписчиков, и святой Иоанн Креститель получит кокетливую сумму в три тысячи франков. Везет этому Иоанну Крестителю!

Это не все. Ты отлично понимаешь, что я не был так глуп, чтобы пропустить столь ценное указание, как насчет верблюжьего масла. Честное слово, мой дорогой Паскаль, ты говоришь об этом, как будто дело идет о чистой фантазии. Позволь сказать тебе, что ты из тех, кто бросает иземчужины с таким пренебрежением, словно это

каменшки... Знаешь ли ты, что, напротив, идея нашей тетки просто-на-просто удивительная идея, и я предлагаю ей привлечь меня к участию в ней. Но, конечно, так, как она представляет ее себе — это зародыш, робкий набросок. Надо расширить ее, придать ей приличные, необходимые размеры. Как! Верблюжье масло, достаточно соленое, не портится, а она довольствуется вывозом в крохотный уголок мира, образуемый крайним югом Малой Азии! Робость, говорю я тебе, и, разумеется, вполне естественная у женщины, преимущественно занятой архитектурой и духовной жизнью. Но надо всегда доводить свою идею до конца.

Я смотрю на вещи широко, и вот что я ей предлагаю:

Я сделаю из предприятия — мировое предприятие. Ее дело мазать маслом бутерброды ребятам из Бейрута, Иерусалима, Сихема и Капернаума, но я, находясь в Марсели, как европейский представитель фирмы «Молочная Мертвого Моря» (название красиво и производит впечатление, советую ей сохранить его), я обязуюсь посылать пакеты с маслом во все столицы и все значительные города континента. И уже в одной древней Фокее, где насчитывается много богомолок, которые будут счастливы пользоваться почти священным продуктом, обеспечен значительный сбыт.

Рассмотри вопрос внимательнее. От нашей молочной до Иерусалима два дня караваном (максимум). По железной дороге из Иерусалима в Яффу — прямое сообщение, пароходом из Яффы в Марсель — также. К сожалению, мне не хватает цифр, чтобы набросать смету. Но я едва ли ошибусь, утверждая, что верблюд дает больше молока, чем ко-

рова, и что это молоко можно продавать дешевле, получая в то же время больший доход.

Итак, будь добр, мой дорогой Паскаль, объяснить нашей тетке возможность расширения ее проекта. Мне кажется, это и есть то истинное чудо, которого она ищет. Это, по меньшей мере, предприятие в сто тысяч франков чистого годового дохода для нее и во столько же для меня, конечно; так как, чтоб вознаградить себя за немалую работу по устройству складов и хранению такого огромного количества масла, я едва ли потребую слишком много, спросив половину барыша. Но эта святая знает толк в делах и не сочтет моих требований чрезмерными.

Алексис очень тронут, что его милый дядя думает о нем. Конечно, мертвый ястребенок доставит ему большое удовольствие, но он был бы еще более рад получить живого хамелеона. Вероятно, благодаря ценному свойству менять окраску, подвижным глазам и нелепой форме, это животное кажется ему исключительным, даже химерическим. Если когда-нибудь тебе попадутся хамелеоны, пошли ему несколько штук, так, чтобы, если большинство из них околеет в дороге, один или два, по крайней мере, дошли.

Поль, не посоветовавшись со мной, решила тоже попытать счастья в крупном предприятии. Дело пошло не так, как ей бы того хотелось. Бедная милая женщина! Она не знала, что для достижения успеха надо иметь призвание. Вероятно, мой пример вскружил ей голову.

Константен Эзомпе исчез. Это был скверный господин. Не будем больше о нем говорить. Что касается Сербека, то бывают минуты, когда меня

разбирает сильное желание бросить ему его залежи фосфата в физиономию. Право, они стоят мне слишком дорого. Ведь имел же он нахальство выудить у меня на днях пятьсот франков, угрожая выпить у меня под носом склянку опиума! Но, клянусь, в первый же раз, что он повторит эту шутку, я представлю ему выхлебать свой ликерчик. Увидим, обладает ли мужеством Сократа этот старый Терсит!..

По получении этого письма, выполни немедленно мое поручение к тетке и тотчас же ответь мне.

Твой любящий брат

Симон.

P. S. При сем циркуляр условий для охотников и рисунок, воспроизводящий мой плакат озера Фатимы, чтобы совершенно поставить в курс дела мать Сент-Ансельм.

C.

ГЛАВА V,

О ПРАЗДНЕСТВЕ НА МОРСКОМ БЕРЕГУ И О ТОМ, ЧТО ЗА НИМ ПОСЛЕДОВАЛО.

Правда, в общем, Симон де Торвиль не интересовался чередованием времен года. Это — игра поэтов, развлечение мечтателей. Человек практичный, человек, погруженный в крупные предприятия, не может распускать своего воображения и смягчать свое сердце созерцанием природы. «Зодиак, — охотно повторял он, — всего на всего передаточный ремень, обмотавшийся вокруг земли. Я никогда не знаю, находимся

ли мы в чаше Весов или в клешнях у Рака. Я работаю, а Космос кружится».

И тем не менее в этом году он, повидимому, был чувствительнее к чарам весны, чем всегда. Он не без внимания рассматривал побег платанов в Мельянских аллеях ¹⁾ и даже заметил своим неразлучным Тарпвье и Муази, что на террасе «Глетчера» что-то изменилось. Шахматисты изумленно подняли головы. Они увидели над собой глубокое, синее небо, пересекаемое блестящими облаками; смутное воспоминание потянулось в них, как давно окоченевший, полумертвый зверь, который все-таки еще жив. И они подумали о деревьях, о траве, о цветах, виденных когда-то, об исчезнувших днях детства.

И вот тогда-то Покровитель предложил им отправиться на рыбную ловлю, большую, настоящую, в роде экспедиции.

— Мне надо встряхнуться,—объяснил он;— я боюсь, что иначе я пущу корни на своем кресле. Раз в год мне необходимо два дня свободы. Это придает мне мужества до следующей весны. Хотите сопровождать меня? Я уезжаю в субботу утром, на заре, и еду до Карри. Удят и гуляют целый день. Вечером ставят переметы и идут спать. На утро их вытягивают из воды, на свежем воздухе наваливают в кастрюлю все, что найдено на крючках, и в полдень пробуют чудеснейшую уху, о какой только можно мечтать. Ее обнухивают, ее смакуют, ее кушают по каплям, курят, болтают, пьянеют от свежего воздуха и возвращаются домой под вечер. Что вы думаете о такой вылазке?

Оба друга согласились, на условии, что им будет дозволено захватить шахматы, чтобы не упустить ни

одного удовольствия. Симон поручил Поль организовать роскошный пикник, так как уха предполагалась только к воскресному завтраку, а прекрасное празднество должно было заключать в себе по меньшей мере четыре еды.

Это было, бесспорно, прекрасное празднество. Мадам де Торвиль, оживленная хорошей погодой и счастливая руководить маленьким караваном, сделала чудеса с помощью удивительной Катарини, которая заранее расцвела при мысли о том, что наверстаёт, благодаря неожиданному кутежу, два или три дорогих потерянных килограмма. Два цыпленка, кусок холодной телятины, несколько дюжин крутых яиц, голова сыру, фрукты, белое Алжирское вино (очевидно, с озера Фатимы, а почему бы и нет?), большой миндальный пирог были бережно сложены в чемоданчик, доверены попечениям ломбардки, и в четыре часа утра все отправились на пароход, предназначенный для такого рода экскурсий и стоявший у набережной Старого Порто. Мэтр Тарпвье и г. Муази ждали, сидя на тумбах, один с шахматной доской, другой с фигурами, погруженные в полусон.

— Вы не можете себе представить,—говорил г. де Торвиль,—какую радость я испытываю при мысли, что вот мы все здесь собрались и с нами нет ни предателя Ззомпса, раз он предпочел исчезнуть, ни угрюмого Матиаса Журдина, ни ужасного Сербека, который лопнет с досады, что его не пригласили. Но моя жена, мой сын, мои два верные друга, моя преданная служанка толпятся вокруг меня на этом ковчеге, который уже уносит нас. Мне кажется, что я навсегда покидаю этот адский город работы и мошенничества и пристану с вами, далеко, далеко отсюда, к какому-нибудь счастливому острову.

¹⁾ Бульвар в центре Марселя. (Прим. перев.).

Поль улыбалась этой восторженности, Алексис прыгал от радости через снасти, Тарпвье и Муази в первый раз за долгие годы дышали воздухом, от которого не пахло водкой или папиросой, Катарина мечтала о жирном цыпленке, обещанном ее аппетиту в час привала. Это было прекраснейшее празднество. И оно совпало по всем пунктам с программой, выработанной Симоном. Они присутствовали при восходе солнца на море, вошли в Карри, зеленое по утру, как водоросль, и совсем похожее на бретонскую бухту, с волнением и простодушием мореплавателей древних времен мира, открывающих неведомый залив. Они гуляли по холму и на берегу, купались, собирали морских улиток по утесам, завтракали под сосной и обедали в харчевне; а на утро перемены чуть не порвались под грузом множества пойманной рыбы. Уха вышла божественной, и ее оказалось так много, что нужно было пригласить еще кого-нибудь. А этот «кто-нибудь», вызвавший сострадание г. де Торвиля тем, что ничего не мог поймать своей жалкой удочкой, годной разве для ловли пискарей, этот «кто-нибудь» был не кем иным, как артистом, извольте видеть, поскольку можно было об этом судить по зеленому горбу, который образовывала на его спине завернутая в саржу мандолина, с которой он не расставался. Это неправдоподобное, подпрыгивающее существо, с одним закрытым, а другим чересчур раскрытым глазом и безбородое, ходило, опираясь на необычайно тяжелую трость, которой очень гордилось, так как она состояла из нескольких миллионов кружков разноцветной бумаги, наложенных друг на друга и спресованных. Оно объявило, что его зовут Сезар Эсташон, и сочло себя заплачившим обществу свою долю, сыграв несколько

мелодий, почти все своего сочинения. Они назывались: «На волнах», «Апофеоз любви», «Последний поцелуй», «Месяц божьих коровок», «Мечта колибри», и это было похоже на скрип блока, на жалобы сверчков, на свист раздавленных зверенышей, сохраняя при всем том некоторую сентиментальность, весьма приятную. Вечером, за десертом, Сезар Эсташон сымпровизировал, под заглавием: «День счастья в Карри», нечто в роде марша для сороконожек, головокругительное и нелепое, что он во что бы то ни стало хотел посвятить ошеломленной мадам де Торвиль. С наступлением ночи этого странного гостя доставили домой, и едва ли нужно говорить, что он был приглашен с завтрашнего же дня давать молодому Алексису уроки мандолины.

Это было прекрасное празднество.

К несчастью, его конец был не так идеален, как того желал его организатор. Настолько верно, что боги испытывают лукавое наслаждение, не оставляя ни одну радость нетронутой, ни одно счастье полным до конца.

Было одиннадцать часов. Г. де Торвиль, подводя своих к дому, рассчитывал на последнюю ночь, чтоб отдохнуть от этих исключительных и беспокойных дней; он уже всовывал ключ в замок, когда какой-то человек отделился от темной стены, с которой он сливался, будучи закутан в неопределенный серый плащ, и быстрым шопотом сказал ему:

— Вот уже три часа, как я жду вас здесь... Мне необходимо с вами поговорить... Уложите ваших и уделите мне одну минуту для разговора. Это более чем необходимость, это крайность...

Уже Поль, Алексис и Катарина пугались, спраши-

вая себя, почему этот незнакомец, чье лицо было скрыто широкой шляпой, надвинутой на брови, пристал к мужу, отцу и хозяину. Но Симон, спокойный, готовый на все, успокоил их жестом. Когда человек занят крупными делами, он, как доктор, как священник: и днем, и ночью он должен быть готов к тому, что его побеспокоят. Он велел своей семье подыматься вперед, незнакомец шел за ним.

— Ну?—спросил он, оставшись с ним с глазу на глаз в своем studio, при зажженной лампе.—Что за важная причина заставляет вас ждать меня так, воскресным вечером, и когда вы хорошо видели, что меня нет дома? Но сперва будьте добры сказать мне ваше имя.

— Вы меня не узнаете?—спросил незнакомец, снимая шляпу.—Но, может быть, вы узнаете, если не меня, то эту безделушку...

И, отгибая край своего плаща, он указал пальцем на золотую и эмалевую звезду, сверкавшую поверх невзрачных выцветших лохмотьев, покрывавших его грудь.

— Короли!—хриплым голосом воскликнул г. де Торвиль.—Господи, это Арауканский король!.. Ах, государь, простите меня.

— Вы прощены вполне,—сказал король, проводя рукой по верхней губе, как бы ища длинные черные усы, которые украшали ее недавно; я выбрился и переменял прическу. А может быть, и лицо.

Это был рослый малый, атлетического сложения, несколько исхудавший, конечно, но еще очень крепкий, коричневый, как мавр, с очень ласковыми глазами, несмотря на сдвинутые брови, с руками, явно созданными для того, чтобы держать меч, мервингский меч. Его костюм напоминал костюм грузчика, долго ношенный без смены.

— Но, государь, объяснитесь?... Я ошеломлен.

— Конечно, есть от чего. Но сперва не предложите ли вы изгнаннику стакан вина для подкрепления? Он без сил. Он не ел уже два дня.

Охваченный самым живым волнением, а также той огромной, особой жалостью, которую испытывают по отношению к державным несчастьям, г. де Торвиль бросился в столовую и в несколько секунд накрыл на стол. Потом он пошел за своим царственным гостем и усадил его.

— Я сам буду подавать вашему величеству,—объявил он.

И он последовательно положил ему на тарелку пять крутых яиц, три куска телятины, крыло и ножку цыпленка, задок лангуста, два яблока—словом, все остатки от пикника, выразив также сожаление, что его величество не смог участвовать в этом полевом и морском угощении... Но монарх качал головой, как человек, уже лишенный права делить с людьми самые простые земные радости, тем не менее кушая и выпивая, как людоед. Потом, кончив, он соизволил объясниться.

— Я только что сказал вам, что я—изгнанник, не правда ли, мой дорогой маркиз...

— Я не маркиз,—тихонько заметил Симон,—Торвили были только баронами, и давно уже самый этот титул...

— Если вы им не были еще, ничего не значит. Теперь вы—маркиз. Я предполагаю, что монарх, даже падший, имеет право давать своим подданным титулы, какие ему угодно; добавлю, что этот титул вы заслужили вашей преданностью моему делу. Вы были французским бароном, теперь вы арауканский маркиз.

Сделав это замечание спокойно, но с некоторым

высокомерным нетерпением, не допускающим возражения, его величество продолжал, более мягко:

— Итак я сказал, что я—изгнанник. Я знал, что найду у вас приют. Я пришел. Ошибся я?

— О, государь, как вы можете только подумать?

— Я не думаю. И доказательство, что я—здесь. Моя жизнь с некоторых пор была только рядом несчастий, которым нет названия. Я спрашиваю себя, как я мог их выдержать. Но перестанем жаловаться и перечислим эти печальные события. Когда я писал вам, я находился в одном французском порту Атлантического океана, имя которого не играет роли, ожидая денег, которые вы должны были мне прислать, и новостей оттуда. Особа, которую я к вам направил, была верной, на нее мне не приходится жаловаться: она честно передала мне деньги. Да, впрочем, можно ли сказать, что упрекаешь кого-нибудь в чем-нибудь? Разве не достаточно судьбы, чтобы обрушиваться на нас?

Получив просимые пятьдесят тысяч франков (и кстати, я могу только одобрить вас по поводу ордена, который в виде исключения, вы пожаловали от моего имени нашей верноподданной мадам Брусваль), я послал по телеграфу тридцать тысяч вождю Мапу. К несчастью, вождь Мапу не мог их получить сам, не возбуждая этим подозрений. И мне пришлось отправить их на имя некоего Лоренсо Масаредо, купца из Неукена, тайно преданного нашему делу. Но этот Масаредо был предатель, шпион, на содержании у чилийской полиции, который удовольствовался тем, что положил тридцать тысяч франков вождя Мапу себе в карман (это была его премия), а тому, вместо условленной суммы, отправил посланца, чтоб объявить ему о моей внезапной кончине в Париже, в ночном

заведении на Монмартре, в обществе двух девок и трех бутылок шампанского. Как вам это нравится? В отчаянии, не в силах больше внушать уважение своим людям, начинавшим бунтоваться, не зная, что делать, куда итти с теми, кто остался ему верен, честный вождь Мапу пустил себе пулю в лоб.

Между тем этот мошенник Масаредо не терял времени. В то время как наши друзья патагонцы таким образом самоуничтожились, шпион перебрался через Анды и начал сеять панику среди наших приверженцев в Арауко и его окрестностях, послав мне вдобавок телеграмму и прося у меня еще денег, чтоб обеспечить себе последнюю помощь в самой столице, куда, впрочем, он звал меня немедленно. Это была ловушка, и провидение посреди всех моих несчастий избавило меня все-таки от ужасного унижения быть посаженным в тюрьму в своем собственном городе, как это случилось с моим знаменитым предшественником. Я послал этому негодяю все деньги, находившиеся в моем распоряжении, оставив себе на дорогу только самое необходимое. Но каково же было мое изумление, когда, высадившись на Канарских островах, я прочел в местном листке целиком перепечатанную из чилийских газет историю измены Масаредо, над которой, разумеется, чилийцы, как и тенерифцы, потешались изо всех сил! Покинутый, подавленный отчаянием, я понял, что подвергну себя несомненной гибели, если теперь продолжу свое путешествие. Кроме того, разве бы меня признали мои подданные, ошалевшие от противоречивых известий, которыми их, очевидно, засыпали? Разве бы они не сочли меня новым самозванцем? Приходилось еще раз удалиться от страны, священный прах которой я не попираю уже семь лет. Приходилось возвращаться...

А у меня не было больше ничего. Я нанялся помощником повара на первый пароход, отправлявшийся на континент, и вернулся. Ах, как описать вам это путешествие! Какое падение!.. Я помню, что по прибытии в Бордо бродил по улицам, как нищий, не зная сам, что делаю...

— И вы не могли мне написать тогда?— воскликнул Симон, возмущенный страданиями, перенесенными его монархом.— Неужели вы думаете, что я оставил бы вас в затруднении?

— Нет, я подумал об этом. Но я не хотел сдаться этой мысли. Я уже достаточно злоупотреблял вашей любовью, мой милый Торвиль. Мне казалось, что я больше не имею права увлечь вас в бездну, куда толкала меня судьба. Я провел там несколько дней, далеко не розовых, уверяю вас. Наконец, собравшись с духом, я продал все, что имел на себе, за исключением, конечно, моей звезды великого магистра Южного Креста (мне бы казалось, что я закладываю свою корону), и на вырученные деньги я смог добраться до Марселя. И вот я здесь, почти такой же голый, как дофин в день своего рождения, но только без надежды. Не правда ли, мой дорогой маркиз?— добавил его величество с сардоническим хохотом, еще раз распахнув плащ и показав жалкое тряпье, покрывавшее его.— Не правда ли, вот прекрасный костюм для триумфального въезда?

Симон был сражен. Такое чудовищное несчастье превосходило всякие границы. Тем не менее оно было, свидетель чему этот плачевный, но все же мужественный монарх. Такое благородное поведение заслуживало большего, чем банальное выражение сочувствия. Г. де Торвиль сумел найти слова, достойные столь серьезного положения:

— Государь,— сказал он,— я хорошо понимаю потрясение, которое вы только что пережили. Тем не менее, ваше дело не потеряно. Придет время, когда ваши арауканские подданные и ваши патагонские союзники поймут, что их провели, и их готовность встретить вас станет только пламеннее.

— Но этого дня приходится ждать... А я не могу больше ждать его бездействующим претендентом... Нет, нет, Торвиль, не настаивайте, не предлагайте мне гостеприимства, которое вас стеснит, я в этом уверен. То, чего я хочу, видите ли, это исчезнуть— впрочем, к этому меня побуждает осторожность— до тех пор, пока я не сочту своевременным вернуться в Арауканию. А чтобы исчезнуть, лучше всего взять самое серое, самое тусклое имя и принять где-нибудь, все равно где, такую же тусклую и серую должность. Нет ли сейчас какой-нибудь свободной должности в одном из ваших предприятий?

— Государь, я не потерплю...

— Но поймите же, мой милый Торвиль, что меня принуждает к этому необходимость. Допустим, что вы и несколько преданных друзей сложились бы, чтобы выплачивать мне пенсию, которая позволила бы мне вести образ жизни мелкого буржуа. Меня бы узнали очень скоро, потому что всякому придет в голову искать меня именно в праздности. А найдя мне работу (боже мой, ну да, ни это слово, ни самое дело не пугают меня), вы просто спасаете мне жизнь. Работы в течение года, вот все, что я прошу.

Симон глубоко задумался. Чем больше он думал, тем больше убеждался в правоте его величества, несмотря на нелепость, на неуместность его желания, как казалось на первый взгляд. Да, безусловно, он найдет ему работу.

— Хорошо,—согласился он,—я подумаю об этом. Положение, которое мне пришло на ум для вас, не готово еще ни с какой стороны: надо его подготовить. Но с одной стороны, это к лучшему, потому что сейчас вы ужасно нуждаетесь в отдыхе. Спешу добавить, что это положение чудесным образом оградит вас от всякой опасности. Можно сказать, оно ожидало вас.

Мы поговорим об этом завтра утром. Сейчас же ваше величество хочет спать. Пусть ваше величество позволит мне устроить ему постель в моем studio на диване. Оно будет спать тем лучше, что моя мысль будет сторожить его, а над его снами, видите, раскинется эта нарисованная мною карта великолепной страны, куда оно скоро вернется среди криков своего народа.

— Принимаю это предзнаменование,—объявил его величество, бросая на этот приют благосклонный, но уже оцепенелый взгляд.

И через несколько минут Симон с почти священным волнением услышал через перегородку августейший храп изгнанника.

На утро, раньше чем разбудить его, он побежал к мадам Брусваль, чтоб объяснить ей положение вещей. Старая волшебница страстно замахала своей палочкой, как бы желая сразу заколдовать всех своих питомцев: человеческой и куриной породы. Затем, как только волнение позволило ей заговорить, она объявила, что хочет сама взять на себя честь приютить своего короля. Только трех зародышей перенести в подвал, и дело в шляпе: она может предложить его величеству роскошь и комфорт целого этажа. На памяти жителей Прадо не было случая,

чтоб она выходила: но при столь исключительных обстоятельствах она сделала это. Она захотела лично прийти умолять Нестора-Аякса поселиться на «Вилле Тюльпаников». Она видела его всего только раз, издали, на заседании, которое Симон однажды устроил в его честь в Анжерском Географическом Обществе. Когда она увидела его, бритого, исхудавшего и такого жалкого, она чуть не упала в обморок от потрясения. Наконец, она нашла силу заговорить и сделать свое маленькое предложение.

Нестор-Аякс согласился с величайшей благосклонностью, оговорив, однако, что он идет на это только в ожидании места, обещанного г. де Торвилем. Батильда улыбнулась, восхищаясь тем, с какой неприужденностью существо столь высшего порядка подчиняется самым обыденным обстоятельствам: и даже его отрешья виделись ей в сиянии. Тем не менее она нашла более уместным, чтобы Симон предложил ему взамен более прочное платье, и, возбужденная, помолодевшая, как влюбленная, которая похищает своего жениха, как муравей, который волочит соломинку, опьяненная гордостью, она унесла свою царственную добычу к себе в жилище.

ГЛАВА VI,

В КОТОРОЙ ТРИ ЛИСТКА БУМАГИ ЯВЛЯЮТСЯ ОЧЕНЬ ВАЖНЫМИ ДЕЙСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ.

С тех пор страсть мадам Брусваль к высиживанию отодвинулась на задний план. Дети и цыплята—будь что будет—были предоставлены заботам nurse, и не-

счастливые, в течение нескольких недель, знали ужасы смертности. Все вращалось вокруг короля. Само собой разумеется, что для прислуги он был только кузеном, проездом из Америки, которому выказывали симпатию, слегка окрашенную почтением, как это полагается по отношению к экзотическим родственникам, но зато Батильда наверстывала упущенное с глазу на глаз. Таким образом, обратно тому, что происходит обычно, когда публично оказывают уважение, а в частной жизни обращаются скверно, этот человек познал вкус фимиама и помпу церемоний при закрытых дверях.

В силу тонкой дипломатической фикции, подсказанной изобретательным Симоном, «Вилла Тюльпанников» являлась маленькой арауканской территорией, коронным владением, чем-то в роде убежища, тем более неприкосновенного, что даже хитрый и ловкий Масаредо не помышлял в него проникнуть, не подозревал даже о его существовании. Вечером, после обеда, мадам де Брусваль надевала декольтированное платье, немного старомодное, но роскошное, а на грудь, вместо драгоценностей, вместо фамильных жемчугов, водружала орденскую цепь Южного Креста. Потом, удалив всю прислугу, она зажигала люстры, жаровни и канделябры и... принимала своего монарха. Нестор-Аякс, снисходительно, предоставлял ей действовать. Вытянув в кресле свое широкое, плотное тело, хорошо одетое заботами портного, приглашенного хозяйкой дома, с толстой, длинной сигарой в зубах, он рассказывал, чтобы оживить эти странные вечера, истории своей страны, с вдохновением, которому позавидовал бы покойный Гюстав Эмар. Он описывал арауканские плоскогорья, здоровую колыбель неистребимой расы, красоту девственных

мест, битвы воинов, хитрости предателей, героизм вождя Мапу и его доблестный конец, преданность верноподданных, все еще ожидающих возвращения изгнанника, несмотря на запугивания чилийцев, несмотря на аргентинские интриги. В голубом дыму его «ромео», Батильде рисовались, со всей яркостью их красок, пампасы и великие рии, узкие и мрачные ущелья, созданные для засад, андские высоты, увенчанные полетом кондоров. И она говорила себе с лихорадочной гордостью: «Это я, да, это я, Батильда Брусваль, принимаю в своем доме короля Араукании!.. Могла ли я когда-нибудь подумать, что такая честь выпадет на мою долю перед смертью? И как смогу я отблагодарить его?»

Однажды праздник был еще полнее. Батильда пригласила Симона и Поль и, видя, с какой фамильярностью король обращается с ее племянником, над которым она до сих пор подсмеивалась, она почувствовала к нему внезапное почтение. Как? Его величество разговаривал с этим фантазером, как с серьезным человеком, мало того, как с опорой монархии! Он называл его то «мой дорогой маркиз», то «мой дорогой министр», таким образом официально подтверждая титул и должность, пожалованные им в частном разговоре; он говорил с ним о своих проектах; он обращался с мадам де Торвиль с совершенно королевской любезностью, говоря о той минуте, когда она займет при дворе должность статс-дамы?..

Ослепленная, пораженная, Батильда отялекла в сторону свою племянницу и повторила ей обещание, сделанное однажды—оставить ей после смерти все свое имущество. Она не могла сделать меньше—не правда ли?—для родственницы, которой Нестор-Аякс оказывал такое уважение. Что касается самого Симона, несмотря

на его недостатки и безумства, она питала к нему истинную благодарность за то, что он познакомил ее с этим великим человеком.

Впрочем, по отношению к ней самой его величество был очаровательно добр. Сперва очень сдержанный, даже немного высокомерный, как подобает монарху, принятому простой горожанкой, Нестор-Аякс поне-много отрешился от этой строгости и в несколько дней дошел до настоящей задушевности, такой сладкой для той, кто был удостоен ее!.. Он рассказал ей свою беспоконную жизнь, свою первую встречу с Нестором I, основателем династии, бои, которые он вел с ним рядом, свою верность обездоленному королю, наконец самую патетическую из всех ночей, когда, чувствуя близкий конец, перед собравшимися вождями, этот великий полководец передал ему в наследие свою корону.

— Героическое время! — заканчивал он, — с какой грустью я его вспоминаю! Это была эпопея арауканской монархии. Увы! несмотря на все мое мужество и всю мою энергию, есть минуты, сударыня, когда я сомневаюсь, когда я чувствую себя как бы раздавленным. Вернутся ли когда-нибудь эти славные дни?

— Не сомневайтесь, государь, — восклицала Батильда восторженно, — они вернутся, еще более славные... Куда бы годились тогда наша преданность, наши постоянные мысли?

Нестор-Аякс милостиво улыбался. Видно было, что он совсем повеселел. Он предавался проектам своего возвращения и совершенно естественно привлекал к ним свою хозяйку, он доводил свою снисходительность даже до того, что иногда спрашивал у нее совета относительно некоторых подробностей. Смушенная Батильда, заикаясь, высказывала свое мнение. Был

только один пункт, в котором он был непримирим: вопрос его «учения», как он это называл. Если бы он слушался только мадам Брусваль, он бы жил на «Вилле Тюльпаников», катаясь, как сыр в масле, добрую дюжину месяцев, ожидая первого знака оттуда, от своих приверженцев: но он смотрел на это иначе. Он хотел работать, он хотел научиться жизни. Его преследовал пример Петра Первого.

— Россия не была бы тем, чем мы видим сейчас, — повторял он, — если бы этот царь провел свою молодость, развлекаясь во дворце. Я тоже выучусь какому-нибудь ремеслу. Мой друг Торвиль как раз подыскивает его для меня. Этим он окажет мне услугу, значения которой он даже не подозревает. Нет, нет, не настаивайте. Король, который отдыхает, пропавший король.

Время от времени (большей частью вечером, из-за опасностей, которые, по его мнению, могли ему угрожать) он ходил за новостями к Симону. Но Симон сам еще ничего не знал: он ожидал новостей только в первых числах июня.

Тем временем воображение будущего министра мучили другие заботы, заботы, совсем недостойные его, увы! даже совсем мелкие. Они навязывались, однако. Как известно, векселя, подписанные им первого февраля, должны были напомнить ему о себе через четыре месяца, т. е. первого июня. А последние дни мая проходили один за другим с двойной (вы бы сказали — насмешливой) скоростью ясных дней и канунов платежей. Г. де Торвиль попрежнему сожалел о том, что не знает имени изобретателя векселей, но на этот раз он хотел бы знать его уже не для того, чтобы воздвигнуть ему статую. Чтобы проклясть его. Так как, действительно, есть что-то дьявольское в ловкости,

с которой деньги, так легко находимые при других обстоятельствах, скрываются от розысков того, кому они нужны, чтобы соблюсти честь подписи. Спрашивается, зачем существуют ростовщики: вероятно, они дают займы только сыновьям и во всем отказывают отцам.

Симон перевернул небо и землю, чтобы раздобыть четыре тысячи франков. Напрасные усилия. Весьма понятная скромность помешала ему в этом случае обратиться к г. Бертрону Сербеку, а другие заимодавцы на запрос требовали гарантий, в виде доходных домов, земель, государственных бумаг... Что заставило г. де Торвиля рассмеяться, несмотря на его невзгоды:

— Да неужели вы думаете, — отвечал он этим людям, — что, будь у меня государственные бумаги, земли и дома, я стал бы тратить время в ваших крысиных норах?

Они ничего не отвечали, сраженные его логикой, но непоколебимые в своих нелепых требованиях. Мэтр Тарпвье и г. Муази, призванные, наконец, отблагодарить за оказанные услуги, отложили на более тихие времена сто восьмой эпизод своего большого шахматного турнира и пустились на розыски, один в состоятельные кварталы, другой в бедные. Мэтр Тарпвье в первых ничего, конечно, не нашел (ибо у богатых жестокие сердца); Теодор Муази, более счастливый, получил бы у тряпичника с площади Пентагон двести франков и часы из оксидированной стали, если бы согласился подписать вексель в триста франков с уплатой первого октября... Симон отказался с негодованием, объявив, что если уж быть задушенным, так он предпочитает быть задушенным канатом без дальнейших разговоров, а не так, где-то за прилавком, с помощью бичевки.

Но все же, что делать? Поль, терзаемая угрызениями

совести, следила за всеми перипетиями этой борьбы... Правда, Симон не просил ни о чем, но эта скромность не была ли хуже самой упорной настойчивости? Он не говорил ничего, но каждый его жест, но то, как он опрокидывал себе в тарелку, за обедом, маленькую глиняную амфору с лесной земляникой, не значило ли все это: «Все-таки я вам муж, существо, которое вам ближе всего на свете, и вы предоставляете мне биться, тогда как сами дали шестнадцать тысяч франков старой безумице, авантюристу и интригану-попу»...

С другой стороны, от денег сына, которые она имела неосторожность пощипать, осталось так мало, что мысль еще раз притронуться к ним сводила ее с ума. Она не смела ничего сказать, она никому не смела доверить свое горе... Наконец, однажды, она открылась самому Алексису:

— Дорогой мой мальчик, — сказала она ему, — ты уже не совсем ребенок. Я буду говорить с тобой, как с юношей.

И она рассказала ему о положении вещей.

— В конце концов, — закончила она, — я считаю, что эти деньги принадлежат тебе. И я также считаю тебя достаточно разумным, чтобы уже распоряжаться ими, как если бы тебе был двадцать один год.

Алексис не колебался ни минуты. Последнее время он отлично видел беспокойство отца и печаль матери.

— Надо спасти папу, — объявил он. — Когда мне будет двадцать один год, я всегда сумею устроиться. Я ставлю только одно условие: чтоб из этой суммы сперва отчислили столько, чтобы мне купить миноносец, который я видел в витрине базара на аллее Сен-Луи: он стоит сорок франков, и никогда иначе я не посмел бы просить о нем. Ты видишь, мама, я еще в выигрыше.

Описать счастье мадам де Торвиль при виде того, как ее сын отнесся к этому делу,—невозможно. Эта женщина, такая ласковая и такая нежная и всегда жившая в каком-то снисходительном и зябком сне, с трудом переносила тяжесть, которую накладывала на ее жизнь эта веская сумма денег. Уже она облегчила себя в значительной части. Алексис взялся освободить ее от остального. Ей было необходимо жертвовать собой, быть свободной от всяких привязанностей к земным благам. Какая тонкая радость думать, что ее сын облегчает ей эту задачу, ускорять это освобождение и что у него те же взгляды на жизнь и на то, как поступать! Быстро отдала она необходимые распоряжения своему нотариусу и двадцать девятого мая получила свой капитал... Увы! от всего наследства, оставленного дальней родственницей, оставалось только три тысячи пятьсот франков... Все равно, может быть, и это спасет Симона. Лишнее говорить о том, какой сказочной казалась эта сумма Алексису. Он решил, что с нею его отец может купить рудники и каменоломни обоих континентов... по крайней мере.

Так как он уже любил литературу и получал в классе лестные отличия за французские сочинения, он задумал присоединить к своему подарку маленькую речь. И он сочинил таковую, краткую, но забавную, не забыв наметнуть в ней на знаменитый миноносец. Но так как он в то же время испытывал отвращение ко всему, что сколько-нибудь напоминает общественные выступления, то удовольствовался тем, что написал ее вместо того, чтобы произнести, и поместил это письмо в конверт вместе с кредитными билетами, полученными утром, а конверт положил под салфетку г. де Торвиля, за обедом.

Я также отказываюсь описать потрясение, радость.

счастливого отца. Он, обычно такой красноречивый, не находил слов... Он бегал туда и сюда, зигзагами, потрясая извлекательным конвертом... Он целовал Поль, как супруг со старинной гравюры, встречающийся со своей супругой, после кораблекрушения, на берегу спасительного острова... Он произносил шопотом отрывистые слова, где можно было разобрать клочки, в роде: «Подожди, Сербек, мошенник!.. Есть еще честные люди... среди детей!.. Семейное счастье!.. Нечеловеческое самопожертвование!..». Наконец, как только способность выражаться связно вернулась к нему, он бросился к Алексису и, подняв его к небу (как некогда, в день изгнания г. Фюмада), воскликнул:

— Боже! ты знаешь, я верю в тебя только при особых обстоятельствах. Но бывают дни, когда действительно невозможно сомневаться в тебе. Только внушение свыше объясняет такие движения сердца. Благодарю тебя, что ты мне дал такого достойного меня сына!

На следующий день Алексис получил, в большой коробке, принесенной рассыльным в фуражке, не только желанный миноносец в два луи, но еще — очевидно ради морских боев, — другой корабль, больше и красивее, с мачтами, трубами, двумя палубами, якорями, пушками, матросами и многочисленными пассажирами. Великий день для ребенка: он дрожал от радости. Он не стал ждать прогулки к бассейнам парка Борели и в сады Фаро, чтобы испытать эти мощные боевые единицы. В спешке, он спустил их в лоханку Калипсо, которая, удивленная и обеспокоенная, спела лучшие свои жалобы оловянным Улиссам, прикрепленным к палубам этих неведомых кораблей. Катарина Бюрс была награждена двухмесячным жалованьем: она так давно отвыкла от этого пышного жеста, что ей при-

шлось трижды объяснить, в чем дело, и тогда она по-восточному, поцеловала руку своего хозяина. Мэтр, Тарпвё и г. Муази не были забыты, их покровитель давно уже заметил, с каким мужественным достоинством они ходили всегда очень медленно, из-за своих изнуренных подошв и штанов, ставших такими хрупкими: он дал им на обновление этих предметов, как ни как за последние дни употребленных в службу ему. Разве их вина—не правда ли?—что результат не соответствовал усилию... Наконец, самой мадам де Торвиль, для украшения ее молельни, был прислан от модного антиквария чудесный Христос из старой слоновой кости, шедевр готического вдохновения. Она была тронута им до слез, больше, конечно, чем была бы тронута кольцом, ожерельем или придворным платьем.

Г. де Торвиль, может быть, не позволил бы себе все эти подарки, если бы денег Алексиса хватило на уплату всех четырех тысяч франков по векселям. Но так как нечего было и думать расплатиться по всем, приходилось пожертвовать одним—скажем, в семьсот франков. Тогда получался маленький остаток: почему не посмотреть на него, как на барыш, и в таком случае не использовать его приятно, сделав кое какое добро вокруг себя!

Когда первого июня, ровно в девять часов, явился господин в треуголке, с похоронной гармоникой, г. Симон де Торвиль уплатил, до последней копейки, девятьсот франков скорняка, равно как две тысячи четыреста франков г. Маккаки, но в отношении семисот франков обойщика он оказался несокрушимым.

— Я отказываюсь!—сказал он тоном человека, которого ничто не сможет поколебать.—Устраивайтесь, как знаете.

— Это будет опротестовано,—заметил человек в треуголке.

— Ну, и протестуйте, мой друг, протестуйте,—возразил Симон с улыбкой.—Ваши протесты меня не трогают.

И он захлопнул ему дверь перед носом, с чувством более чем выполненного долга.

«Не хватает,—думал он,—чтобы ко мне стали придирааться из-за тридцати пяти луи, когда я пустил себе кровь из четырех жил, чтобы выложить сто шестьдесят пять!.. Моя добрая воля, кажется, очевидна... Ладно, пойдем работать».

Что он и сделал, примиренный, спокойный, в полном обладании вновь обретенных способностей организатора и поэта.

ГЛАВА VII, С МЕРТВОГО МОРЯ.

*Зорский монастырь,
19 мая 18...*

Мое дорогое дитя,

я выслушала с живейшим удовольствием чтение главных частей письма, написанного вами Паскалю де Торвиллю, к которому я всегда отношусь, как к родному племяннику,—вы это знаете,—раз вы относитесь к нему, как к настоящему брату. И поспешность, с которой я отвечаю вам, послужит вам, надеюсь, первым доказательством того, с каким интересом я отнеслась к предлагаемым вами проектам.

Но прежде всего, мое дорогое дитя, позвольте мне предаться на несколько мгновений благочестивому изумлению, которое мне внушает образ действий провидения по отношению к нам. Я уверена, что у вас, увлеченного вихрем больших предприятий, нет времени, как у меня, размышлять по поводу некоторых любопытных совпадений. Скажите, Симон, не странно ли, что, за столько миль друг от друга, два члена одной и той же семьи в одно и то же время трудятся над процветанием большого озера? Правда, одно—в Африке, а другое—в Азии, в одном вода пресная, в другом—соленая, одно благословенно богом, который дает благоденствовать на его берегах стольким удивительным животным, другое давным давно проклято при обстоятельствах, о которых, я думаю, излишне напоминать вам. Правда и то, что ваш способ эксплуатации чисто коммерческий и практический, а мой—чисто идеальный и духовный. Все равно,—это два больших озера, и это совпадение наших параллельных помыслов поразило меня, мое дорогое дитя, сильнее, чем я могу сказать. Больше того, я добавлю, что оно, главным образом, и заставило меня принять в соображение проект, о котором вы пишете. Взаимно помогая друг другу в столь родственных делах, мы только последуем предначертаниям провидения.

Сперва рассмотрим вопрос о доле вашего участия. „Молочная Мертвого Моря“! Тут я узнаю ваш гений делового человека. Из идеи, которая оставалась у меня смутной и бедной, вы не только создаете, путем простого логического развития ее возможностей, огромное мировое пред-

приятие, но вы кладете на него печать успеха, решающую печать, давая ей имя. „Молочная Мертвого Моря“! Изумительное сочетание слов, потрясающий контраст между тотчас же возникающими образами: „молочная“, то-есть благосостояние, изобилие Обетованной Земли, патриархальная чистота; и „Мертвое Море“: разорение, пустыня, жажда, небытие. Какой христианин не захочет стать клиентом этой таинственной фирмы?

Итак, я одобряю от начала до конца то, что вы говорите. Это превосходно. Вы говорите о стране Иуды так, как будто всегда в ней жили. Достаточное доказательство—не правда ли?—что сильный человек (в противоположность бедному Фоме) понимает все, не чувствуя необходимости в какой бы то ни было проверке. От Иерусалима до Марселя все пойдет автоматически. Остается только обеспечить транспорт от Зоры до Иерусалима. Вы угадали: это два дня караваном по горным тропинкам, которые не улучшились с тех пор, как молодой Давид пас там свои стада. Чтобы вести этот караван, нужен верный человек, энергичный, привыкший к опасным предприятиям, человек, рожденный для власти и приключений. Отец Сосипатр был бы превосходен для этого, но, к несчастью, я не могу обойтись без капеллана, из-за ежедневной обедни. Не говоря уже о том, что, как только узнают об его отсутствии, мои бедные дочери и я, мы можем всего ожидать от диких жителей пустыни, которые иногда развлекаются тем, что спускаются с Моавских гор и грабят и опустошают все, что им попадется. А Паскаля я не смею просить

остаться с нами. Это значило бы препятствовать его карьере великого архитектора. Ведь он уже ведет переговоры с богатым американцем, слегка маниаком, который забрал себе в голову построить гелиотерапевтическое заведение среди развалин Пальмиры. Работа трудная, конечно, но увлекательная и которая сразу может сделать его знаменитым.

Таким образом, мне нужен проводник караванов. Не можете ли вы мне его достать? Подумайте, Симон, ведь только этого колеса и не хватает в чудесном механизме, первая мысль о котором пришла мне и который вы довели до совершенства! Если вы пришлете мне в ответ нужного человека (а в этом я не сомневаюсь ни минуты, так как верю в вас безусловно), я тем временем подготовлю все нужное здесь: помещение, стада, корзины и ящики. На вас, в Марселе, будет лежать сбыт в розницу огромных кубов доставляемого масла. Вы же, разумеется, должны выдумать для этих маленьких пакетов изящную, заманчивую виньетку. (Мне не нужно было ждать присылки вашей прекрасной картины: „Вид озера Фатимы“, чтобы узнать ваш талант рисовальщика). Что вы скажете о молодой сирийке в национальном костюме, которая доит коленопреклоненного верблюда, на фоне Мертвого Морья?.. Впрочем, вы сами увидите...

Что же касается доходов, мое дорогое дитя, будет только справедливо, если вы оставите себе половину, в виду значительной доли работы, которую вы берете на себя в этом деле, тем более, что вы открываете передо мной такие суммы, что я совершенно ошеломлена... Сто тысяч фран-

ков в год! Возможно ли это? Это составляет пятьдесят тысяч для меня и моего монастыря! Да я смогу купить библиотеку у синайских монахов, которые нуждаются... Ах! ах! я шучу, нам еще далеко до того, чтобы загребать сокровища пустыни.

Теперь перейдем к тому, о чем вы меня просили—прислать вам охотников для озера Фатимы.

Я не говорю нет.

Я прочла письмо г. Фюмада: оно меня очень заинтересовало, и я уверена, что смогу кое-что для вас сделать. К сожалению, работа, которой я сейчас посвящаю большую часть моего времени, не позволяет мне покидать берега Иордана. И мне придется ограничиться письмами к некоторым лицам, с которыми я знакома в Малой Азии и которых считаю способными заинтересоваться вашими охотами. Я познакомилась в Бейруте с неким г. Тами, который, конечно, соблазнится перспективами, которые вы разворачиваете перед глазами путешественников. Я также напишу в Дамаск, в Сен-Жан-д'Акр, в Лаодоклию и даже в Антиохию. Конечно, может быть, это не будет иметь той же силы, как если бы я сама поговорила с этими людьми, но все-таки я надеюсь на успех. Так как они будут отправляться из Бейрута, а не из Марселя, я спрошу с них полторы тысячи франков, вместо тысячи двухсот, не правда ли? Это никому не повредит. Что же касается маленького процента, который вы предлагаете моему монастырю, нужно ли говорить, с какой благодарностью я его принимаю? Вы не поверите, как такое внимание тронуло меня. Я не скрываю: строить дома, чтобы помещать

в них слуг господних, это моя страсть. Давая мне средства еще больше отдаваться этой благочестивой мании, вы занимаете в моих молитвах место еще более значительное, чем раньше, исключительное место. Спасибо, дорогое дитя, да хранит вас святой Иоанн-креститель!

А теперь мне надо обратиться к вам совсем униженно, совсем смиренно и поговорить с вами шопотом. Симон, выслушайте меня, Симон, не откажите мне в помощи.. Вы видите, с какой охотой, более того, с какой непосредственной радостью я вошла в ваши интересы, приняла участие в ваших предприятиях. Теперь ваш черед доказать мне вашу готовность. Симон, вы должны спасти мне жизнь... К этому письму прилагается список благочестивых душ с их адресами. Сходите по этим адресам, позвоните у этих дверей, поглядите этих людей, на которых я надеюсь, и скажите им: „Вот! Мать Сент Ансельм в беде, вы — последняя надежда матери Сент-Ансельм. Ее святому делу грозит опасность. Если вы не протянете ей руку, ее прогонят с берегов Иордана, ее и ее святых монашек. Это будет стыд, бесчестие, разорение. И иерихонский поп, и друзья, и греческий патриарх в Иерусалиме, и германский консул в Хайфе, все эти враги рассмеются мрачным смехом филистимлян перед слепым Самсоном. Вследствие событий, которые было бы слишком долго описывать, по причинам слишком запутанным, чтобы хорошо их объяснить, мать Сент-Ансельм уже выстроила половину своего монастыря на земле, заложившей вдоль и поперек; она бьется среди ужаснейших ростовщиков мира, ростовщиков Востока“.

Будьте убедительны, Симон, подумайте, если вам не удастся получить от этих лиц то, что я у них прошу, все рухнет, и молочная, и монастырь, и ваше, и мое будущее. Это катастрофа, которой нет названия.

Мне нужно восемьдесят тысяч франков не позднее пятнадцатого июля. Благочестивые души, о которых я вам говорю, многим мне обязаны, и я не сомневаюсь в их готовности расквитаться... Но я знаю, что требования общественной жизни никому не позволяют быть вполне бескорыстным... Поэтому я несколько не буду оскорблена, ни даже удивлена, если вышеуказанные благочестивые души попросят маленький процент за свой капитал. Единственное, о чем бы я просила вас, это последить, чтобы проценты не превышали, если можно, двадцати пяти. Я знаю, что на Востоке доходят до сорока, но я именно и надеюсь, что Европа покажет себя более умеренной.

Само собой разумеется, что вы имеете carte blanche. Кроме того, я прошу вас взять себе, в награду за труды, небольшие комиссионные, скажем десять процентов, т. е. восемь тысяч франков, при чем вам самому придется их достать сверх восьмидесяти тысяч, которые мне нужны полностью. Что бы ни случилось, даже если мне придется, чтобы расчитаться, заплатить потом сто пятьдесят или двести тысяч франков, не все ли равно, в конце концов? Я же все-таки останусь в барыше, спасая таким образом „Молочную Мертвого Моря“.

Среди всех лиц, внесенных в прилагаемый список, скорее всего отзовется на мою просьбу г. Лефемюр, человек отменно набожный, избранное

сердце. Он живет на улице Перрен-Солье, в доме, украшенном садом, за которым он сам ухаживает. Он примет вас самым любезным образом, и на него-то я и возлагаю свои лучшие надежды. Вы будете поражены, так же, как и я, благоуханием святости, которое исходит от него: действительно, находясь в присутствии таких людей, спрашиваешь себя, принадлежат ли они еще земле... Не забудьте также говорить как можно отчетливее: г. Лефемюр немного туго на ухо.

Я думаю, что кое-кого из этих лиц вы знаете: г. аббата Журдина, например. По правде сказать, я записала этого святого человека только ради некоторого почета. Он не может считаться богатым. Но если он сам не способен на существенную помощь, он может оказаться полезным своими ценными указаниями. Я знаю, что состоятельные дамы его прихода охотно прислушиваются к его советам.

А теперь, мое дорогое дитя, мне остается попрощаться с вами, заранее благодаря за все, что вы сделаете для вашей бедной тетки, попавшей в затруднение, и снова высказать вам всю мою признательность за то, что вы уже надумали совершить...

Передайте вашей дорогой жене ревностное благочестие которой мне известно, передайте маленькому Алексису, что я усердно поминаю их в своих молитвах. Не забудьте также передать мой привет моей сестре Батильде. Если я ей не пишу, то не из неврадивости, а потому, что я погружена в тысячу работ и что вынуждена пользоваться случаем, когда пишу одному из членов моей семьи, чтобы напоминать о себе остальным.

Бедная сестра! Не боится ли она, что там, в небесах, все ее старания спасти тела преждевременно рожденных детей (незаконных большей частью, увя! как я слышала) не зачтутся ей, потому что она упорно пренебрегает спасением их душ? Зрелище такого неверия у такого исключительного человека угнетает меня.

Что же касается хамелеонов, Паскалю не удалось найти ни одного. Проклятие, уничтожившее Содом и Гоморру, распространилось даже на это ничтожное и странное животное... Со времени ухода Лота, их больше нет.

Остаюсь в Господе нашем Иисусе Христе ваша искренне преданная

Сабина

(в монастыре мать Сент-Ансельм).

Симон получил это важное послание из Палестины только несколько дней спустя после того, как урегулировал вопрос с векселями. Увеличение работы, которое оно обещало, не могло привести его в уныние, напротив. Деятельность, даже чрезмерная, шла его энергичному темпераменту. Кроме того, избавившись от забот, которые ему причиняли г. Маккаки и скорняк г. Сербека, он чувствовал себя охваченным новым оптимизмом, особо благоприятствующим удаче, успеху. И потом отныне все держалось само собой. Ему казалось, что его усилия, как бы они ни были значительны, не будут больше рассеиваться, а, напротив, для какого бы предприятия он ни работал, все остальные будут только выигрывать, потому что все они немного зависят друг от друга... Чудесное равновесие! Гармоническое взаимодействие!.. Только крупные дела дают уму удовлетворение, немного

головокружительное, немного опьяняющее, но такое благородное! такое полное! такое прекрасное! Таким образом верблюды Вениаминова колена будут в некотором роде питать диких уток озера Фатимы, а пока послужат делу претендента на арауканский престол.

Так как — не правда ли? — это было самое спешное, то, о чем надо было позаботиться немедленно. «Человек, рожденный для власти и приключений»... разве этим выражением мать Сент-Ансельм не угадывала, не порождала Нестора-Аякса?.. Чудесное совпадение!

В нескольких словах ознакомленный с сущностью дела, этот лишенный царства монарх в одно мгновение понял, чего от него хотят, и даже выразил истинное удовольствие. Несмотря на убитый вид, жалобы и мольбы своей хозяйки, он вырвался из усадьбы Капуи, приняв однако из рук Батильды два чемодана, набитых провизией и костюмами, дорожную аптечку и, наконец, бумажник (поднесенный от чистого сердца) с десятью бумажками по тысяче франков.. И восьмого июня на одном из роскошнейших пароходов компании «Мессажери маритими» он пустился навстречу своей новой и мимолетной судьбе. Этот монарх, мужественный даже тогда, когда насмешливый рок отодвигал его трон еще на несколько сот миль от него, находил поводы шутить, чтобы грустная Батильда, кроткая Поль, чувствительный Алексис и доблестный Симон не были слишком опечалены.

Он заметил с благодушным смехом, намекая на верблюдов, которыми ему отныне придется управлять, что если так будут продолжать толкать его все больше и больше к востоку, ему придется совершить свой въезд в Арауко на слоне или на ламе.

ГЛАВА VIII,

У БЛАГОЧЕСТИВЫХ ДУШ И У ВОЛЬНОДУМЦЕВ.

Выдержка из записной книжки, в которой г. де Торвиль ежедневно отмечал события своей жизни и успехи своих предприятий.

10 июня 18...

Куй железо, пока горячо. Как только отбыл бедный Нестор-Аякс, я бросился на поиски благочестивых душ, указанных матерью Сент-Ансельм. И, чтобы до конца придерживаться ее инструкций, я начал с г. Лефемюра.

Не знаю, обладают ли ангелы более нежными ноздрями, чем мы, способными улавливать тонкий аромат, который моя тетка так изящно называет благоуханием святости. Но что я знаю хорошо, так это, что в доме и от особы г. Лефемюра ужасно пахнет кошкой и мышиным пометом. Мне часто в жизни приходилось просить денег, и у субъектов всех родов, но никогда я не видывал такого экстравагантного, как г. Лефемюр, господь его храни!

Столетняя служанка, одетая несколько под монахиню, ввела меня в маленькую, ледяную гостиную, без мебели, без цветов, без картин и мощеную, как кухня. Я прождал четверть часа, сидя на одном из двух стульев и созерцая — налево «отвратительную улыбку» Льва XIII, единственное украшение южной стены, и направо, через окошечко без занавесок, знаменитый сад хозяина этих мест: самый невероятный образчик, когда-либо мной виденный, даже на картинах пятнадцатого века, цветника, разбитого на отделения. Набор маленьких квадратов травы, окай-

мланных выцветшими буксами и разделенных аллеями, посыпанными каменным углем. И ничего, ровно ничего больше, разве только, посредине этого мрачного, темного, угольного загона, цветочный горшок с лилией, истинным символом пономарской чистоты.

Сочтя меня достаточно придавленным этим ледяным зрелищем, на пробковых ногах вошел господин, бледный, как сало, и бритый, как монастырский привратник, с толстым, мягким и дрожащим носом, ртом, сделанным из двух слизней, расположенных друг над другом, глазами удивленного осьминога и бледно-желтыми волосами, небрежной пеленой рассыпанными по плечам. Он склонился передо мной с безмолвной вежливостью и сел на второй стул, сложив руки на животе, как будто собирался слушать проповедь, скучную проповедь маленького начинающего викария.

Схваченный за горло запахом кошки, о котором я уже говорил, я сделал было в сторону кармана нерешительное движение человека, ищущего спасительный платок. Но я сумел побороть себя и в нескольких словах представился, как посланник матери Сент-Ансельм.

При этом имени г. Лефемюр не мог удержать радостного кудачания. Потом он рассыпался в философских и религиозных соображениях по поводу печальной судьбы, которая разлучает нас с избранными натурами, очевидно затем, чтобы дать нам возможность убить в себе всякую человеческую привязанность. Это длилось приблизительно восемнадцать минут, при чем он закончил словами надежды хотя бы на небе встретить эту исключительную женщину, которую он только однажды видел мельком за столом у одного епископа, имени которого он не назвал.

В то время как он говорил, отвратительный запах керосина, вырываясь из его гадкого рта, дополнительно распространился в атмосфере. Я думал, что лишусь чувств. Но, к счастью, я крепкого сложения. Негодяй не покончил со мной таким грубым способом. И, спокойно, невозмутимо, даже улыбаясь, я прямо приступил к цели моего визита, конечно, все время крича, так как моя тетка определенно отметила, что он глух. Тон моего голоса был такой повышенный и я произносил слова с такой четкостью, что, несмотря на все желание не слышать меня, бедняга никак не мог пропустить ни одного из моих слов. Итак, он слышал, довольствуясь всякий раз, когда дело шло о деньгах, тем, что сжимал руки на животе, как бы испытывая невыносимые рези... Потом, когда я кончил и настала его очередь говорить, по его лицу пробежало такое выражение страдания, что одно мгновение я подумал, не был ли, несмотря на нелепый вид, человек, корчащийся передо мной, настоящим мучеником.

— Послушайте, сударь, — сказал он наконец, — раз вы приходите посланником от той, кто был моим большим другом, от матери Сент-Ансельм, я должен сказать вам всю правду... То, что вы сообщаете мне, пугает меня. Я спрашиваю себя, не сон ли это... Неужели дьявол посетил эту превосходную женщину?

— Дьявол! — воскликнул я. — Как, г. Лефемюр, что вы хотите этим сказать?

— Но все говорит об этом, сударь, все доказывает это! И вы видите меня в полнейшем ужасе. Устроить монастырь, лучше того, молочную, на берегу Асфальтового озера, в самом сердце проклятой области! Но подумайте же, сударь, ведь это кощунственное безумие, богохульство, усугубленное нелепостью... С того

дня, как господь послал огненный дождь на пять городов этой преступной долины, это осужденная страна, которая должна оставаться запретной для нас, и мои религиозные убеждения решительно не позволяют мне идти навстречу попытке, явно внушенной злым духом. Я напишу несчастной письмо, которое, надеюсь, откроет ей глаза и подаст мысль как можно скорее бежать из этих печальных мест... Как она не понимает, что все эти затруднения, которые возникают, все эти закладки, которые ее давят, все эти преследования, которыми ей угрожают, — предупреждения свыше, как если бы ее святой говорил ей: «Образумься! Ты губишь себя!» Если, с вашей стороны, вы имеете некоторое влияние на нее, сударь, удержите ее на этом роковом склоне. Теперь самое время для нее бросить это безумное предприятие... Я сейчас же начну девятидневные молитвы о спасении моего бедного друга...

И старый мошенник, как сказал, так и сделал. Почтительно поклонившись нам обоим, Льву XIII и мне, он покинул гостиную. Несколько мгновений спустя, я увидел его через северное окошечко гуляющим в своем смешном, сыром саду, кружась вокруг своей лилии, как будто обращаясь к ней дрыгающими движениями головы и бормотанием противного рта. Начинались его девятидневные молитвы...

О, я буду помнить о моем первом столкновении с богомолами! Но будем надеяться, что они не все кроены по этой выкройке... Все-таки эта первая неудача досадна. Мать Сент-Ансельм, повидимому, особенно рассчитывала на эту личинку.

11 июня.

Я решил не отчаиваться и продолжал поиски. Увы! бесплодные. Я никогда не думал, что вера и энту-

зиазм до такой степени покинули католицизм. Так как ведь, если на свете есть область, способная взволновать христианское сердце, это, конечно, Мертвое море при впадении в него Иордана. И никто не хочет помочь молодому ордену баптистандинок, никому нет дела до этого монастыря! Я, последовательно, посетил старую даму в Андуме ¹⁾, с глазом, выбитым на одном благотворительном базаре, кабатчика-испанца с улицы Одимар (почти соседа), знаменитого в известных кругах своей щедростью по отношению к нищим монахам своей страны, и бывшего аптекаря с Каstellанской площади, про которого я бы сказал, что он страдает заиканием, если бы это убожество, напротив, не помогало ему так кстати в трудные моменты разговора.

Старая дама в Андуме рассказывала мне свою историю, лишенную всякого смысла, и свое злоключение, которое очевидно может интересовать только ее (есть люди, которые не обладают даром изложения); кабатчик выругал меня, после того как, замученный слишком точными вопросами, я покался ему, что Мертвое море не в Эстрамадуре; наконец, аптекарь всучил мне четыре коробочки какого-то вещества против винного камня, которое он сам изобрел. Но никто из троих не захотел дать ни одного сантимата для матери Сент-Ансельм.

12 июня.

Я продолжаю свои визиты к благочестивым душам в порядке списка. Но все с тем же успехом... Неужели Мертвое море действительно проклято? Я буду настойчив. Увидим, за кем останется последнее слово, за ним или за мной.

¹⁾ Endoume приморский квартал в Марселе. (Прим. пер.).

13 июня.

Список окончен. Никто ничего не дал. Но патриарх Лот и любитель акрид святой Иоанн-креститель свидетели, что я не жалел красноречия. Сегодня вечером, немного разочарованный, я открылся моей жене, по-друге моих хороших и дурных дней (ув! большей частью дурных, но это скоро переменится). Она долго размышляла над положением вещей. И наконец сказала:

— Есть некто, о ком я никогда бы не осмелилась с вами заговорить без этого, мой дорогой Симон. Но, мне кажется, он способен оказать вам немало услуг в данном случае.

— И это?—спросил я, заинтересованный.

— Аббат Журдин.

И, так как я подпрыгнул:

— Вот именно из-за... из-за ошибки, которою он нам нанес ущерб, бедный аббат из кожи полезет, чтоб услужить нам..

— Вы его видели? — перебил я.

Но очень кротко, очень степенно Поль продолжала:

— Не сердитесь, Симон, я думала, что так будет лучше. Да, я его видела и даже говорила с ним. Зачем мне скрывать это? Ведь он тоже сделал немало шагов, чтобы приблизиться к нам, принести извинения, сказать, как он горит желанием исправить... В конце концов, речь идет о богоугодном деле, не так ли? С другой стороны, я видела, что вы обеспокоены, озабочены, я знала, что вы бегаєте весь день в поисках за деньгами для вашей тетки.

Дорогая Поль! Что за чудесная женщина! И как меня тронуло ее участие! Ах! я могу сказать, что

она заслужила свою арабскую беседочку в Эль Биаре... Я просил ее продолжать.

— Итак, я видела аббата Журдина и объяснила ему, какой представляется случай к тому, чтобы вы ему простили историю с маленьким кафе. Он мне ответил, что ручается в том, что соберет всю сумму в течение недели, но что, предварительно, ему нужно выдаться с вами. Согласны ли вы его принять?

Я был уничтожен изобретательностью, тонкостью Поль. Чем дальше я подвигаюсь в жизни, тем больше вижу, какая у нее деловая сметка. Это удивительно.

14 июня.

Я видел аббата Журдина. Это человек гораздо более выдающийся, чем мне казалось раньше, когда, по правде сказать, я знал его только, как чемпиона лото. В нескольких словах, очень простых, мы ликвидировали прежнее положение вещей. Вся эта умо-рительная история с кафе стала мне, разумеется, безразличной. В конце концов, главная ответственность падает на Константена Ззомпса, которого, впрочем, никто с тех пор не видал. Итак, не это важно. И мы перешли к порядку дня.

Я поделился с ним своими неудачами у благочестивых душ. Он проникновенно объяснил мне, в чем секрет того упорства, с каким они стягивают свой кошелек.

— Богомолы,—я передаю вкратце его слова,—обла-дают большими достоинствами, а именно набожностью, чистотой нравов, спокойствием привычек, уважением к законам; но они ничего не понимают в делах. Особенно не доверяют они делам, которые им предлагают другие набожные лица. Они рассуждают

так: «Раз речь идет о благонамеренном предприятии, бог и его святые не замедлят прийти ему на помощь, и даже именно по этому признаку мы узнаем, было ли оно действительно достойным одобрения. Предупредить божественное вмешательство было бы с нашей стороны постыдно». Этой психологической особенностью объясняется то, почему большинство католических предприятий поддерживается масонами и евреями. Эти две последние категории людей тем менее щепетильны в такого рода делах, что они во всех случаях остаются в выигрыше. Если дело удастся, они в восторге, что получают доходы, которых таким образом лишаются католики; если же оно лопается, ну, что ж! у них есть утешение в том, что это лишний ущерб религии, которую они ненавидят.

И когда я его спросил, является ли его поражающая осведомленность в этом вопросе результатом дуктивного мышления или же..., он чистосердечно, только более низким голосом, признался мне, что дошел до этих убеждений понемногу, путем опыта. Я не настаивал, понимая, как должно было быть тяжело священнику столько раз в жизни переступать пороги еретиков... Я сократил разговор,*сжато объяснив ему подробности предприятия и условия, на которых надо было заключать заем. Само собой разумеется, я обещал разделить с ним комиссионные, предложенные мне матерью Сент-Ансельм.

17 июня.

Получил славное письмо от г. Фюмада. Новости относительно озера Фатимы превосходные. Немного смутные, пожалуй (я бы хотел точных указаний о перелетах птиц, о приходах хищников и т. д.), но нельзя же требовать от бывшего учителя музыки,

ставшего другом погонщика-араба, познаний Жофруа Сент-Илера ¹⁾. Вопрос, который меня больше всего беспокоит, это вопрос о «Palas'e». Если, как все заставляет думать, подписчики нахлынут в течение августа, мне будет очень трудно объяснить им, что они должны были заплатить мне вперед в апреле и что, из-за невыполнения этой предосторожности, мне невозможно было построить им их гостиницу. Чтобы хоть сколько-нибудь подготовиться к такому случаю, г. Фюмад велел, как он говорит, надстроить двумя этажами гурби ²⁾, в котором он живет. Туда напишут охотников. Если окажется избыток, этот избыток будет спать в палатке. Американцы называют это camping.

18 июня.

Успехи Алексиса на мандолине не более значительны, чем на скрипке. Но г. Эташон, повидимому, так счастлив проводить здесь два часа в неделю, что я не смею его разочаровать. К тому же его тросточка из кружков цветной бумаги околдовала меня... Встречаются в жизни люди, которые оказывают на вас необычайное, необъяснимое влияние просто из-за более или менее экстравагантной подробности своего костюма...

20 июня.

Аббат Журдин имел успех. Это удивительный человек.

Он нашел восемьдесят четыре тысячи франков!.. Как это ему удалось? Какие обиды он перенес? Это

¹⁾ Знаменитый французский естествоиспытатель (1772—1844).

²⁾ Арабская хижина из сучьев. (Прим. перев.).

остается тайной между ним и его терпением. Он ничего не захотел рассказать мне о своих затруднениях,—доказательство, что его самолюбие должно было сильно пострадать. Бедный аббат Журдин!

Зато у него есть восемьдесят четыре тысячи франков... Да, нечего сказать, дорого обходятся деньги! Я даже понимаю, что при таких условиях некоторые боязливые люди предпочитают никогда не заниматься.

Президент масонской ложи (двадцать седьмая степень, лимонадный фабрикант по профессии) дал тридцать четыре тысячи франков из двадцати процентов.

Еврей с Академической улицы дал семь тысяч франков из двадцати пяти процентов.

Другой еврей (но уже с улицы Ноай) предложил восемнадцать тысяч из тридцати двух процентов (с условием, чтобы его имя выгравировали на плите перед главным алтарем часовни). После некоторых сомнений, было ли это требование ироническим или искренним, решили в пользу искренности и положили восемнадцать тысяч франков в карман.

Третий еврей (португальский, Аркадная улица) выжал из себя двенадцать тысяч франков из двадцати процентов.

Наконец—но тут я цепенею от изумления—последние тринадцать тысяч франков исходят от ужасного Сербека... о, не прямо, конечно, а темными обходами... Комбинации! Переносы! Подстановки! У Сербека (это у него твердый принцип) нет никогда ни одного собственного сантима. Он не отказывается найти вам денег, но с условием, что вы допустите фикцию, что он найдет их в другом месте. Осмелюсь сказать, что это для него прямая выгода, так как

он никогда бы не мог, соблюдая благопристойность, спрашивать для себя проценты, которые он требует с чистым сердцем от имени почтенных людей,—но любящих, ах, безумно любящих анонимность¹⁾. Они, по его словам, сложились вчетвером, чтоб образовать тринадцать тысяч франков, и они это сделали, несмотря на свою бедность, с единственной целью угодить матери Сент-Ансельм. Как же иначе объяснить их причудливое понятие о процентах: двадцать процентов, но за шесть месяцев, что называется, на добром французском языке, сорок процентов?

Ах, я хорошо знаю, что мать Сент-Ансельм предпочла бы менее... восточный процент. Но что поделать? Нам оставалось только восемь дней; а перед ней—вечность для продажи идумейского верблюжьего масла. Впрочем, все в этом деле приносят себя немного в жертву. Вместо восьми тысяч комиссионных, на которые я рассчитывал, осталось всего четыре, из которых половину пришлось отдать аббату. Но не все ли мне равно, в конце концов? Это дело меня очень мало касается. Главное для меня было знать, было ли известно Сербеку, когда он отыскивал деньги для Зорского монастыря, о косвенных, но реальных отношениях, связывающих меня с этим монастырем. Аббат поклялся мне, что, по его личному убеждению, тот ничего не знал. К счастью! Никогда не известно, что может прийти в голову этому старому негодяю: он способен известить меня из-за этих тринадцати тысяч франков, если моя тетка... Но что я чуть было не написал?

¹⁾ Исключение—некий г. Маккаки, о котором я никогда ничего не узнаю, но имя которого я всегда встречаю с удовольствием.

21 июня.

Восемьдесят тысяч франков отправлены яффскому банкиру, у которого мать Сент-Ансельм держит свои деньги (когда они у нее есть). Ее предупредили телеграммой. Я горжусь своей точностью. Она получит деньги, если мои расчеты верны, как раз пятнадцатого июля.

ГЛАВА IX,

КАК МАЛЕНЬКИЙ КАМЕШЕК МОЖЕТ ОСТАНОВИТЬ САМЫЙ ПРЕВОСХОДНЫЙ МЕХАНИЗМ.

Тем временем, с первого же дня их столь неожиданного знакомства, г. де Торвиль поддерживал с полковником Жандебьеном самые приятные отношения. Этот воин во что бы то ни стало хотел совершить еще один поход: поход на озеро Фатиму, и он говорил о нем беспрестанно. Симон подавал реплики, находя все более поэтические выражения, все более увлекательные обороты, чтоб описать этот африканский рай. Однако он никогда не забывал добавить, что благоразумнее подождать еще немного.

— Помещение, — говорил он, — оставляет желать много лучшего, полковник. Я ни за что на свете не хотел бы подвергать вас возможности встретить упущения в гостеприимстве, которое вам там окажут.

— Мне наплевать — отвечал полковник, смакуя на террасе «Глетчера» свою ежедневную тройную полынную, в то время как за соседним столиком мэтр Тарпвё и г. Муази, равнодушные ко временам года, продолжали свой бесконечный шахматный турнир, — мне наплевать. Вы понимаете, что такой стреляный

воробей, как я, видывал виды. Вы не станете все-таки утверждать, что дом вашего управителя менее комфортабелен, чем соломенная хижина в Дагомее, когда ее осаждают большие муравьи.

— Нет, разумеется, я...

— Я это видел, вы понимаете, я, говорящий с вами, и многое другое еще.. Поэтому на ваш Palace мне начхать. И хорош бы я был, если бы меня заставили жить в нем. Нет, что мне нужно, так это настоящую жизнь авантюриста. Если б я не боялся покоробить вас и вашего управляющего, я бы попросил разрешения спать в палатке.

— За чем же дело стало? Я согласен... Но с условием, что я вам поднесу палатку. Я видел одну на улице Сен-Ферреоль, у нее очень кокетливый вид, и в ней вам будет отлично.

— В свою очередь, я согласен. Но, заклинаю вас, назначимте день знаменитого отъезда. Вы понимаете, что я не хочу быть на открытии со всеми мозгляками, которые нагрянут в сентябре... Разрешите мне льготный тур... Дайте мне уехать раньше.

Так, благодаря своей настойчивости, полковник Жандебьен получил разрешение отправиться на озеро Фатиму пятнадцатого июля, т. е. на полтора месяца раньше других. Каких других? Да Нимвродов из Дамаска, Бейрута, Лаодикеи, со всей Малой Азии, приезд которых был неизбежен, не считая марсельцев, которые, очевидно, ждали последней минуты, чтобы решиться. И тогда, какая толкотня! И народу же там наберется сразу! Но Симон уже выписал преискурант одного американского общества, которое отливало дома, как вафли, по форме. В случае наплыва, можно призвать illico представителя этой фирмы с его трамбованным бетоном, цементом и формами и потребо-

вать от него тут же на месте модель «Р», за семьдесят пять тысяч франков, маленькое чудо-palace, мечта для страны, богатой дичью. В три дня янки прикончил бы свое дело: сутки на установку шаблонов, сутки на отливку материала, сутки на просушку. Прогресс, в этом все!..

Между тем г. Бертран Сербек, видя приближение лета, мертвого сезона для всякой промышленности, а для его промышленности особенно, и, после займа Журдина, ничем больше не задерживаемый в старой Фокейской столице, тоже возымел желание позволить себе маленькое путешествие за счет г. де Торвиля, связанного, к тому же, обещанием.

Симон не возражал.

— У меня одно слово, — сказал он, — даже если его дал Константен Ззомпс. Вам обещали охотничий сезон на берегу озера Фатимы, вы его получите.

А в душе он был счастлив избавиться на некоторое время от присутствия г. Сербека в одном с ним городе. Он опасался бог его знает какого наступательного движения с его стороны, и это нарушало его спокойствие. Итак, чтоб ускорить это путешествие, он пошел на величайшие жертвы. Во-первых, он согласился отпустить его одновременно с полковником Жандебьеном, что причиняло ему некоторое беспокойство. Кроме того, он дал ему небольшой дополнительный аванс в триста франков, которого старая змея добилась со своим обычным коварством, на этот раз без опиума, но с потоками слез. Это, плюс стоимость путешествия обоих случайных спутников, плюс сумма, которую он считал долгом спешно выслать г. Фюмаду, чтобы тот мог достойно принять первых охотников, образовало такую брешь в недавно полученных двух тысячах франков, что...

... что когда пришло время решительным образом расчитаться с векселем скорняка, в кассе не оказалось больше денег.

Кто опишет лукавство этих ужасных бумажек, сперва небрежным жестом возвращаемых принесшему их господину в треуголке и потом отправляющихся, тайно, скрытно, толстеть, пухнуть, искажаться у бесчисленных законников, которые как будто только этого и ждут и, так сказать, подстерегают их? Протесты векселей, кто поведает о ваших неожиданно-стях?

Сначала г. де Торвиль улыбнулся.. Не погибнет же он из-за семисот франков, не правда ли? Когда придет время, он без труда найдет эту сумму, даже увеличенную всеми известными уловками крючкотворства. Но раньше он хочет дать урок «этим людям». Он не заплатит, и все тут!

Он упорствовал. Невидимые противники упорствовали. Однажды явился судебный пристав. Мадам де Торвиль чуть не упала в обморок. Наскоро ее успокоив, учтивый, даже насмешливый, Симон продемонстрировал свой home этим господам. Он поочередно показал им двенадцать фальшивых каминов из искусственного мрамора, цинковую лоханку, где коснела Калипсо, будку морской свинки (очаровательный швейцарский шале с широкими балконами и камнями, удерживающими крышу во время бури), карту Араукании, модельню, книжный шкаф и старый прибор для замораживания шампанского, служивший ночным столиком Алексису, романтические настенные часы, словом все остатки, более или менее связанные с анжуйской роскошью. Эти господа сделали свое дело добросовестно, отметили все, ничего не пропустив, и оставили свидетельством своего появления несколько

синих бумажек, в которых значилось, что на движимое и недвижимое имущество г. де Торвиля будет наложен арест за неплатеж г. Тофану, скорняку, суммы теперь уже в девятьсот пятьдесят франков, уплата коей освобождала от наложения ареста; все это в двухмесячный срок от сего дня, двадцать первого июля.

Г. де Торвиль поблагодарил этих господ, показал им, как пройти к выходу, и улыбнулся при мысли о том, как он их проведет... У него был друг детства, чудесно вновь найденный в Марселе, некий Фурнике, малый очень хитрый по природе и который, в течение двадцати пяти лет сам пробыв в должности судебного пристава, оставил ее только для того, чтоб открыть на улице Виллаж консультационный кабинет, откуда мог метать в своих бывших коллег самые разнообразные и самые неожиданные снаряды сутяжнического арсенала. У него не было соперников по нахождению в любом юридическом деле нарушения формы, благодаря которому он превращал робкую защиту неопытного клиента в неотразимое нападение. Он гениально сопротивлялся.

Он взял Симона под особое покровительство и не раз спасал его из затруднительных положений такого рода. К несчастью, на этот раз дело было труднее. В нем был слегка замешан некий Сербек, а также (и сильно) некий Лермюзоз, беспощадный ярыга, личный враг Фурнике, взявший дело в свои руки. Это были два внушительных противника, но тем больше чести было бы их победить. Фурнике повел ошеломительную атаку.

До истечения суток, он подал прошение о снятии ареста. По дьявольски, Лермюзоз подал на него ответ, чем его обезвредил. В описи Лермюзоз не хватало

двух запятых для того, чтобы быть совершенно в порядке: Фурнике возбудил процесс о несоблюдении формы. Он знал, что обычно такого рода судебные кампании длятся долгие месяцы, и на это он и рассчитывал, чтобы дать своему клиенту выиграть время. К несчастью, Лермюзоз угадал его тактику и, чтоб ее парализовать, устроился так, что дело было назначено к слушанию сейчас же. И выиграл, потому что судья, перед которым тягались лично оба законоведа, был мошенником и милым другом Лермюзозу и имел наглость утверждать, что добросовестность последнего вне сомнения. При этом причудливом заявлении, в суде раздался сдержанный смех. Подбодренный этим смехом и считая общественное мнение на своей стороне, Фурнике апеллировал к высшей инстанции. Он проиграл опять. Короче, он истощил свои силы в безнадежных попытках, в первый раз в жизни теряя великолепное и насмешливое хладнокровие, которым его бывшие сотоварищи всегда восхищались. Ослабев, он был побежден, не без больших убытков для бедного Симона, на долю которого, кроме девяти-сот пятидесяти франков по опротестованному векселю, пришлось еще полторы тысячи франков разных расходов, все к уплате двадцать первого сентября. Дело начинало портиться.

Поль сокрушалась, в бессилии. Она с ужасом видела приближение рокового срока, который Фурнике, гениальный Фурнике, впервые разбитый, не смог отвратить. Ах, если б она была благоразумнее прежде!.. Если б маленькое кафе в Сент-Ориоле. Но судьба! — как раз ее-то и нельзя предвидеть. Иначе, боже мой!...

Что касается г. де Торвиля, то он полагался теперь только на свои два озера: африканское и сирийское. И его душа пламенно обращалась к востоку.

ГЛАВА X,
В КОТОРОЙ ЗАВЕСА РАЗРЫВАЕТСЯ.

Константина, 28 июля 18...

г. Симону де Торвиллю,

Марсель.

Милостивый Государь,

если бы, в виду всегда существовавших между нами скорее сердечных отношений, у меня не оставалось доли уважения к вашей добросовестности, я бы утверждал, не опасаясь опровержения, что стал жертвой величайшей мистификации нашего времени.

Озера Фатимы не существует.

Да, милостивый государь, озера Фатимы не существует. Разве что вы пожелаете заставить меня дать название озера жалкой луже, шириной с бассейн в загородном саду, которая посреди огромной илистой равнины меланхолически мечтает о более счастливой судьбе, да, разве что вы потребуете, чтоб я называл это озером. Но, слава богу, я вижу и я повторяю: озера Фатимы не существует...

Боже мой! Что в древние времена, например в эпоху Атлантиды, здесь существовало обширное водное пространство, с этим я отнюдь не спорю. Что я знаю, так это то, что сейчас там ничего нет, кроме нескольких несчастных куликов, затерявшихся в камышах, да в жалкой хижине — наглого араба и скрипача, на которого больно смотреть. То, что вы послали туда этого несчаст-

ного, доказывает мне лишний раз, как велика ваша природная непредусмотрительность.

Первая часть моего путешествия прошла очень приятно. Полковник Жандебен чрезвычайно учтивый человек, если допустить гипотезу, что его рассказы об охоте и войнах в экзотических странах представляют какой-нибудь интерес. Чтоб убить скуку морского и железнодорожного путешествия, мы играли с ним в покер и в трик-трак. В июле месяце жара в Алжире ужасна.

Я избавляю вас от описания неприятностей, которые посыпались на нас, когда пришлось доставать дилижанс и добираться до места назначения. Предупрежденные нами, Си-Бу-Бекр и г. Фюмад явились нам навстречу с двумя ослами. Они сели на них сзади нас, араб к полковнику, француз ко мне. Уже я спрашивал себя, куда я попал, мысленно сравнивая действительность с волшебной картиной дружеской и комфортабельной встречи, ожидающей нас, которую вы мне всегда рисовали.

Наши проводники смущенно молчали, что нас удивило... На все наши вопросы они отвечали уклончиво, неясно... И они ничуть не торопились доставить нас скорей. Когда мы таким образом проехали несколько километров, наши осла внезапно остановились в особенно печальном, плоском и унылом месте. А когда мы начали их хлестать, чтобы заставить двинуться дальше, Си-Бу-Бекр и г. Фюмад соскочили на землю и сказали хором:

— Мы приехали.

Я вытаращил глаза, охваченный живейшим изумлением.

— Приехали? Куда? — воскликнул я.

— К озеру Фатиме, — заявил г. Фюмад с ошеломляющей смелостью.

Мы спросили его, не смеется ли он над нами. Тогда, в порыве отчаяния, который показался бы нам трогательным, если бы не был таким смешным, оба приятеля бросились к нашим ногам, обняли наши колени по древнему обычаю и пустились изливать, один на своем сабуре, другой на французском языке школьного учителя, длинную историю, сбивчивую, как только может быть сбивчивой ложь в устах испуганного человека, и по которой расстилавшиеся у наших ног ужасные залежи грязи, фауна которых состояла, главным образом, из туч кровососных комаров, были недавно, во время их приезда, великолепным озером, описать которое не в силах ни перо литератора, ни кисть художника и которое вдруг, прямо так, без всякой причины, начало убывать, убывать, почти что на глазах, так что животные мириадами убегали каждый день и охота становилась все более невозможной. Опасаясь смутить подписчиков и разочаровать вас, они ничего не говорили, все время расчитывая на чудо, обратное тому, которое их приводило в ужас. Алжирские реки будто бы обладают такими капризами, отчаянием географов, наносящих их на карты. Они приходят и уходят, туда, сюда, высыхают, снова наполняются. Тем хуже для озер, которые они питают...

Вы понимаете, что мы с полковником поверили тому, чему хотели, в этой сногшибательной басне. Разве вероятно, чтобы г. Фюмад, который кажется мне не совсем глупым, несмотря на его

несчастную склонность к красноречию, присутствовал, не моргнув, при такой геологической катастрофе!.. Нет, все это гораздо проще. Озеро Фатима было уже совершенно сухим, когда он приехал, но несчастный сказал себе, в согласии с хитрым арабом, который приютил его в своем гурби: „Будем сидеть смирно. Если мы напишем, кому надо, в чем дело, нас отзовут, и прощай наша маленькая синекура“. Итак, он молчал, и оба приятеля устроились, как могли. Кстати, мне кажется, что г. Мариоса Фюмада немножко укусила алжирская муха... Он проводит ночи напролет, играя на скрипке, в то время как его приятель дует в душераздирающую флейту, или же куря наргилэ и рассуждая об отвлеченных вопросах: таковы, по крайней мере, обычаи, наблюдаемые нами в течение двух ночей, которые мы были вынуждены провести с этими двумя оригиналами... Полковник Жандебен, бывавший в тяжёлых походах, отлично бы приспособился ко всему этому, раз у него была палатка и безумное желание воспользоваться ею, при условии, конечно, чтобы было на что охотиться. Но не мог же бедняга стрелять исключительно в комаров. Несмотря на их ненормальную величину, эти двухкрылые, а также стойкие кузнечики, усылавшие всю местность, не являлись достаточной дичью. Тогда мы решили уехать, что и сделали, как только смогли вырваться от наших хозяев, которые, не имея наших причин быть разочарованными, выражали, напротив, все удовольствие, доставляемое им обществом двух культурных и почтенных людей... Ах, какую жалость внушали нам эти излияния, эти любезности, эти грубые

и цветистые комплименты! Было так ясно, что за ними кроется, что за ними последует униженная просьба, наконец, произнесенная: „Главное, не выдавайте нас. Мы такие несчастные малые!“

Им повредить? О, конечно, от такого намерения мы дальше всего. Но пропустить эту шутку, не получив удовлетворения, о, нет! Я был терпелив, г. де Торвиль, но мое терпение имело границы. На этот раз, оно их перешло.

Если некий г. Фюмад, если некий Си-Бу-Бекр солгали, так это было, чтобы спасти свое жалкое существование в такую минуту, когда им невозможно было действовать иначе. Но что вы, милостивый государь, человек умный и уравновешенный, могли организовать такое широкое предпринятие, как эти великие охоты, не потрудившись совершить путешествие и самому проверить, как обстоят дела, вот это свидетельствует о весьма прискорбном легкомыслии. Ах, я отлично знаю, что вы скажете... Вы скажете: „Но ведь это вы, г. Сербек, продали мне это озеро“. А я отвечу вам тотчас же и прежде, чем такой детский софизм введет в обман любого честного человека: „Постойте, г. де Торвиль. Я вам никакого озера не продавал. Я продал некоему г. Ззомпсу, тайному агенту общества, желавшего оставаться в тени, землю в Алжире, которую вышеупомянутый г. Ззомпс упорно называл озером, так что я, устав протестовать, сделал перед ним вид, что тоже считаю ее озером, но которой я, Сербек, никогда не видел (так как она досталась мне в счет уплаты долга и так как я никогда не путешествую) и о которой ничего не знал. Невообразимая торопливость, с которой г. Ззомпс

стремился покончить дело в пять минут, помогла мне догадаться, что лица, пославшие его, считали очень важным вступить во владение этой землей и что они надеялись, будем откровенны, провести меня. Я, мягкий, как всегда, и слишком занятый, чтобы съездить в Африку посмотреть, что за неведомое сокровище заключается в моем имени, уступил очень скоро, приняв, не споря, не проверяя, поставленные мне условия“.

Вот, что я, считал нужным вам объявить, г. де Торвиль, на случай, если бы вы возымели намерение опорожить эту продажу, произведенную по всем правилам. Я уже несколько раз в жизни имел дело с неким г. Фурнике, прославленным мастером в такого рода юридических штуках. Но на этот раз он, пожалуй, сломает себе ребра, если вздумает предаваться своим обычным акробатическим фокусам. Купчая на продажу имени „Фатима“ неоспорима, и я намереваюсь требовать уплаты зачетных денег в назначенные сроки. Если будет затеян процесс или меня заставят начать таковой, мне будет не трудно доказать свою добросовестность: вашу, пожалуй, будет труднее установить... Как бы то ни было, я рассчитываю сохранить свои права, все свои права полностью, а в частности—право получить деньги в должные сроки. Это отчасти вознаградит меня за странные ценности, полученные мной в уплату за залежи фосфата. Довольно вы меня унижали, милостивый государь, вынуждали на постыдные поступки, недостойные моих лет и моей нравственности! Подумать, что однажды, в отчаянии, я чуть не проглотил склянку опиума, что я хотел броситься в Старый Порт! И вы были при

этом, бесстрашный, даже насмешливый свидетель моей агонии! Вы были при этом, укрывшись за точными выражениями условия, вырванного у моей неопытности! Но внутренне, милостивый государь, внутренне не чувствовали ли вы, каким преступным было ваше поведение? Да послужит этот урок вам на пользу!

Так как, в некотором смысле, мое путешествие было бесплатным, я воздержусь от преследований, которые другой возбудил бы против вас после такого разочарования на месте. Но я сохраняю за собою законные требования по всем другим пунктам этого вопроса. Так как, милостивый государь, если даже моя подписка была фиктивной, я о ней не просил, а ущерб, который вы мне нанесли, остается значительным. Мне уже не двадцать лет, и на все эти экскурсии, на эти переправы по морю, спокойному до тошноты (я бы тысячу раз предпочел маленькую бурю), на эти путешествия в раскаленных вагонах, на все эти утомительные тяготы я согласился только с тем, чтобы провести месяц приятного отдыха на берегу чудесного озера, о котором вы говорили без конца. Но если вместо озера я нахожусь потрескавшуюся корку грязи и если мне приходится немедленно возвращаться, вы понимаете, что я обворован, у меня украли мой свободный месяц. Если оценить его, по низкой цене, в сто пятьдесят франков за неделю, то вы остаетесь мне должны шестьсот франков. И от усердия, проявленного вами при выплате этого долга, будет зависеть та или иная степень снисхождения, которой я сочту вас достойным. Имеющий уши да слышит!

К несчастью для вас, полковник Жандебьен не проявляет таких благосклонных намерений. Он ругается и клянется, как капитан корабля, экипаж которого взбунтовался. Он произносит против вас оскорбительные, жестокие обвинения и угрозы, которые иногда даже переходят границы. Мне только с трудом удалось немного его успокоить. Но, несмотря на все мои усилия убедить его в вашей честности, я не смог удержать его от посещения поверенного в Константине, с которым он уже вступил в переговоры. Этот поверенный, между прочим, один из опаснейших законопедов Алжира. Чем все это кончится для вас, не знаю. Полковник не такой человек, чтобы выпустить кусок.

До скорого удовольствия увидеть вас, дорогой г. де Торваль, примите уверение в самом искреннем сочувствии и симпатии вашего

Бертрана Сербека.

ГЛАВА XI,

КОТОРАЯ ДОКАЗЫВАЕТ, ЧТО НЕ ВСЕ ИСТИНЫ МОЖНО
ВЫСКАЗЫВАТЬ.

Отъезд Нестора-Аякса нанес мадам Брусваль ужасный удар. Покровительница недоносков и сама не подозревала о том, какое место занял в ее жизни Арауканский король. Она попыталась снова заинтересоваться цыплятами и зародышами. Она больше не

находила в них никакой прелести... Она блуждала, задумчивая, праздная, в своем обширном доме, полном писка цыпляток и стонов маленьких человечков. Теперь эти звуки выводили ее из терпения. Ей было нужно журчание голоса ее государя, такое сладкое, такое покойное. Ах, что это был за человек и что за счастливые дни она провела с ним!.. Нет, решительно, она не может оставаться в Марселе, если его величество будет жить в Арауко. Она поедет вместе с Торвилями. При дворе,—не правда ли?—всегда найдется для нее какое-нибудь местечко, какое-нибудь занятие. Хотя бы самое маленькое, но чтобы по крайней мере она могла жить в королевской атмосфере, возле властелина. Гофмейстерины, например. Она обладает энергией, авторитетом. Кто заставляет молчать преждевременно рожденных детей, тот сумеет усмирить самых дерзких женщин, самых непокорных придворных. Не может быть, чтобы король отказал ей в этой должности или другой подобной. Это щедрая натура (у нее было много случаев в этом убедиться), неспособная забыть маленькие услуги, оказанные на «Вилле Тюльпанников».

И все же, если даже предположить, что все уладится наилучшим образом, что не будет никаких препятствий к реставрации и что она Батильда, получит возможность вращаться в орбите королевской планеты,—чудесные дни, которые протекли, не повторятся никогда. Никогда больше эта священная особа, во крови и плоти, не будет принадлежать ей с утра до вечера и с вечера до утра в ее собственном доме. Тысячи обязанностей свяжут его, тысячи удовольствий, конечно. Прекрасные арауканки!.. Среди вихря работ своей новой жизни, он найдет для своего старого друга, для своей первой покровительницы,

только рассеянный взгляд, неясную улыбку признательности... Все равно, это все же лучше, чем это ужасное, полное отсутствие... После его отъезда в Палестину, от него не было известий... Ей пришлось идти за ними к Симону, который смог сообщить ей только телеграммы, какие обычно посылают все путешественники.

Но эти свидания повели, по крайней мере, к сближению членов семьи, до сих пор очень далеких.

У Симона и Батильды была общая страсть: восстановление Арауканского трона, а во всем Марселе был только один дом, где бедная мадам Брусваль могла поговорить о своем самом дорогом проекте: дом ее племянника. Итак, забывая о собственном доме, она завела привычку проводить долгие часы у очага Торвилей, то заставляя Симона рассказывать биографию Нестора-Аякса (он знал ее наизусть, и это был почти волшебный рассказ, полный похищений, неожиданностей, засад, боев, побед и еще более величественных неудач); то изучая карту королевства (и Симон должен был описывать ей каждый город: производство, характер жителей, главные прогулки, археологические редкости, костюмы и т. д.). После всех этих разговоров, она уже не могла не интересоваться личными делами племянника. Не соглашаясь принять в них участие, так как она всегда считала их странными затеями, но желая все же выказать свое доброе расположение, она еще раз торжественно подтвердила свое намерение сделать Поль единственной наследницей.

Это обещание придало Симону непоколебимое мужество. Что значили теперь удары судьбы! Даже предположив, что озеро высохло навсегда, что Сербек заберет назад свои владения или потребует за

них большие суммы и что вексель г. Тофана доведет свою ядовитость до того, что разрушит семейную обстановку,—что ж! он мог улыбаться. Тетя Батильда была здесь. Поль ничем не рисковала...

— Меня немного огорчает мысль,—признавался он своей жене,—что состояние, на которое вы имеете право, вы получите не от меня. Но и это огорчение я должен переносить, не жалуясь. Главное, чтобы вы были счастливы. Итак, все к лучшему... Что касается остального, не будем пугаться. Единственная жертва, которую нам придется принести, это расход на новую обстановку. Но, правда, бросив взгляд на остатки, из которых состоит теперешняя, я могу только приветствовать эту необходимость. Придется пережить трудный момент: но даже змеи меняют кожу не без некоторого зуда.

Однажды, к концу дня, мадам Брусваль возвращалась домой с чувством исполненного долга: она обещала своей племяннице и внуку взять их на каникулы в свое имение в Торенк, в горах над Грассой. И даже, распространяя дальше свою доброту, она решила (но пока еще тайно и не сказав об этом ни слова) вмешаться в последнюю минуту — конечно, только в виде исключения — по поводу предстоящего ареста имущества, если ее родственник сам не найдет средств. Короче, она была совсем довольной, совсем помолодевшей, она начала открывать тайны внутренней жизни и радости добра...

... Когда nurse, хранительница недоносков, таинственно вошла к ней в вестибюль и сказала ей на ухо:

— Там кто-то хочет с вами поговорить по важному делу, касающемуся одной особы, которую он

не захотел обозначить иначе, как инициалами: Н. А. 1. Он говорит, что этого достаточно, чтобы вы поняли.

Н. А. 1! Достаточно ли этого? Великие боги! Да меньшего еще,—да только слов «одна особа»... Разве их две на свете?

Она устремилась вперед, взобралась через четыре ступеньки по лестнице (так как незнакомец пожелал быть принятым в гостиной второго этажа, свидетельнице стольких незабвенных разговоров) и очутилась лицом к лицу с корректным и в то же время задорным господином вызывающего вида, с закрученными усами, черными, как смоль, волосами и глазами стремительными, как у ястреба: короче, с самим г. Константенном Ззомпсом, который, цинично, назвал себя.

Мадам Брусваль слегка попятилась.

— Вы говорите? — спросила она, думая, что не слышала.

Тот повторил созвучия своего странного имени.

— Я знаю, кто вы, сударь, и настаивать бесполезно. Мой племянник, г. де Торвиль, несколько раз говорил мне о вас. Дело с кафе, в Сент-Ориоле; кажется...

— Дело не в этом, я совсем спокоен, сударыня. Когда вы узнаете то, что я пришел вам объявить, вряд ли вы еще будете интересоваться этой кофейней. Так как я предполагаю, что Арауканский король дороже вам, чем мадам Вусюр...

— Еще бы! Но какое вероятие в том, что вы можете сказать мне что-нибудь серьезное, вы, г. Ззомпс, по поводу его величества? Вы им посланы?

— В прямом смысле этого слова — нет, и все же я

могу сообщить вам о нем новости, которые он сам — вы слышите, сударыня? — поколебался бы вам доверить...

— Что значат эти двусмысленные речи? Что можете вы знать, вы, Константен Ззомпс, такое, о чем не знает его величество?

— Он знает, сударыня, я не говорил, что он не знает.

— Тогда говорите.

— О нет, сударыня, еще нет.

— Что? Еще нет? А почему?

— Но, сударыня, не сердитесь. Мое положение и так довольно критическое, довольно затруднительное... Если бы вы сами поручили мне розыски, которые я произвел, я полагаю, вы бы не колеблясь уплатили мне маленький задаток — не правда ли? — как это практикуется. Поставьте себя на мое место. Когда я выскажусь и вы меня выбросите за дверь, будет ли мне толк от этого...

Мадам Брусваль задыхалась. Волна крови окрасила ее лицо. Страшная ярость охватила ее. Она кинулась, с поднятой тростью, на Ззомпса, и его прекрасный греческий нос превратился в фонтан черной крови, льющейся потоками на благородный ковер, который некогда Нестор-Аякс попираал своей королевской ногой.

Константен и бровью не повел.

— Да, я знаю, — сказал он с горькой философией. — Дамы — всегда более нервные, чем мужчины — часто встречают вас таким образом. Это неудобство ремесла... Но все-таки, после того как первое раздражение прошло, вопрос еще остается целиком неразрешенным.

— Так значит вы шпик?..

— Это грубое имя, действительно, дают этому...

этой... профессии. Не приходится выбирать себе жизнь, особенно когда находишься в изгнании.

Мадам Брусваль хрипела от ярости:

— Убирайтесь вон, — крикнула она, — убирайтесь вон, исчезайте отсюда. Или я велю полиции вас арестовать.

— О, — сказал г. Ззомпс с улыбкой, полной бесконечной нежности, — она не осмелится... Но вы, действительно, хотите, чтоб я ушел? Это ваше последнее слово?..

И так как он сделал вид, что удаляется, Батильда, обезумев и теперь одержимая желанием все узнать, задержала его:

— Ну, возвращайтесь... Вы достаточно меня взволновали. Каковы ваши условия?

— Боже мой! сударыня, я повторяю вам, если бы вы сами заказали мне это расследование... Подумайте, что я работаю над ним уже три месяца. Расходы, потеря времени...

— Сколько?

— Пятьсот франков, сударыня.

— Хорошо. Хотите триста?

— О, сударыня, вы смеетесь?..

— Клянусь вам, я никогда не была так далека от смеха... Триста франков или дверь!

— Хорошо, сударыня. Мои средства не позволяют мне ломаться.

Батильда достала из бумажника три синих бумажки и протянула их греческому лже-доктору.

— Я избавлю вас от описания моих личных несчастий во время этого особенно трудного расследования, я знаю, они вас не интересуют. И я перехожу к результатам.

Есть шансы, что вы никогда не видели игры Огю-

стена Лаброса, так как этот актер, несмотря на свой талант, выступал только на провинциальных сценах, в безвестных турне. Он был сперва атлетом...

— И чтобы рассказывать мне эту ерунду, вы вывали у меня...

— Терпение, сударыня, всё объяснится. Итак, он был сперва атлетом, потом захотел выступить в комедии. После больших усилий он перешел из ярмарочного балагана в театр супрефектуры, но, несмотря на свой несомненный дар, так и не дождался благосклонности публики... Он долго бы прозябал так, если бы провидение не послало ему однажды (его пути часто косвенны) тифа. Крошечная больница маленького городка, где произошел этот случай, была уже переполнена, и наш герой нашел приют в доме одного старого оригинала, порой филантропа, владельца роскошной исторической библиотеки. Во время своего выздоровления, которое было долгим, Огюстен Лаброс занялся чтением. В частности, ему попалась очень любопытная брошюра, излагавшая приключения некоего Нестора Первого, который был основателем Арауканского королевства... Но я вижу, что вы знаете эту историю... Но будьте сильной, я вас умоляю, будьте сильной.

— Продолжайте,—приказала Батильда, задыхаясь; ее лицо было мокро от холодного пота.

— Он основательно изучил эту брошюру, а также некоторые труды по этнографии, географии и истории, относящиеся к Араукании. Потом он простился со старым оригиналом и с тех пор больше никто ничего не слышал об Огюстене Лабросе. С другой стороны, несколько месяцев спустя, ваш родственник, г. Симон де Торвиль, живший тогда в Анжере, познакомился с очень красивым человеком с бронзовым

цветом лица, в варварском костюме, говорившим с явно экзотическим акцентом, который рассказал ему свою драматическую историю. Будучи лейтенантом Нестора, он принимал участие в переменчивой судьбе этого мужественного воина, который, не имея потомства, на поле битвы при Каллипулли, в присутствии своих храбрых солдат, избрал его своим преемником. Восхищенный г. де Торвиль предложил свою помощь великому делу этой реставрации и, для начала, испросил у Анжерского Географического Общества разрешение устроить в его помещении нечто в роде заседания, чтобы представить Нестора-Аякса избранной публике... Остальное вы знаете, не правда ли? Мне не к чему повторять.

Батильде понадобилось добрых пять минут, чтобы собраться с силами и заговорить. Слова не проходили больше сквозь ее гортань. В ее мозгу не возникало больше мыслей. Она сидела, обрушившись на пуфф, с волшебной палочкой у ног, с искаженным лицом.

— Но,—спросила она слабым голосом, после долгого молчания,—какое у вас есть доказательство, что это все не бред демона клеветы?

— Ах, сударыня,—вдохнул г. Зомпс, подняв к потолку разочарованные глаза,—почти всегда самые ловкие люди спотыкаются о камни, которые обошел бы ребенок... Они вкладывают в это словно какую-то извращенность. Огюстен Лаброс, даже став королем (а, боже мой! малости не хватило, чтобы он им не стал на самом деле), сохранил к своему прежнему ремеслу самую неосмотрительную нежность. Ярмарочный борец, он носил тряпье «фантастичного дикаря», если можно так выразиться, и находил его таким прекрасным, что сделал из него национальный

костюм арауканских героев. Посмотрите, сударыня, на это удостоверение личности, где Огюстен Лаброс снят в рабочем костюме, с гирями у ног, посмотрите, нет ли бросающегося в глаза сходства с фотографиями, на которых его величество Нестор-Аякс носит форму генерала своих войск. Я призываю, вдобавок, ваше внимание также на аналогию лиц. Его величество мало постарел.

При виде портрета, мадам Брусваль почувствовала, как новый прилив гнева охватил ее всю. Она подняла свою волшебную палочку и собралась задать г. Зомпсу основательную взбучку. Но тот на сей раз не имел оснований быть терпеливым. Он выскочил за дверь и исчез, в то время как несчастная Батильда, ооченев от ярости, растянулась на ковре, запачканном кровью из носа грека.

Она была крепкого сложения, она прожила еще несколько дней в кошмарах и бреде, употребляя редкие мгновения просветления на длинные разговоры с нотариусом и упорно отказываясь принять своих родственников. Симон, прибежав ее проводить, не понимал этого странного запрета, но на все его удивленные расспросы прислуга неизменно отвечала, что мадам Брусваль, будучи очень слаба, опасалась неизбежного волнения при свидании с родными. И Симон огорчился, так как в глубине души любил свою тетку и был удручен мыслью, что она страдает там, отделенная от него несколькими стенками и несколькими слоями обоев. Он думал, что это просто каприз малячки, и ожидал скорого выздоровления...

Вместо выздоровления пришла смерть, смерть и ряд сюрпризов, которые она обычно приберегает для

тех, кто остался. Верно говорят, что надо жалеть именно их.

Через несколько дней после похорон, нотариус госпожи Брусваль пригласил г-на и г-жу де Торвиль в свой кабинет, куда они и явились тем более взволнованные—не правда ли?—что это был канун страшного дня ареста, что в кассе у них не было ни одного луи и что покойная никогда не делала тайны из своего решения относительно племянницы. Безусловно, существует провидение.

В кабинете уже толпилось несколько человек: старый священник, в котором Симон узнал священника Батильдина прихода (уж не обратилась ли она перед смертью?), кухарка, лакей и nurse с «Виллы Тюльпанников». Nurse особенно была горда... Чем, великие боги? Весь этот маленький мирок, подчеркнуто одетый в черное, теребил лицемерные платки, проливал пустые слезы. Г. и г-жа де Торвиль заняли места, под неодобрительный шопот.

Нотариус встал, поправил на своем круглом носу неустойчивое пенсне и прочел документ, написанный многословным и темным языком, но в котором можно было разобрать несколько неоспоримых истин:

во 1-х, что, во имя отца, и сына, и святого духа, Батильда Брусваль была, при составлении завещания, в здравом уме и твердой памяти;

во 2-х, что она возлагает на наследницу всего своего имущества обязанность удержать из общей суммы наследства несколько небольших долей, список которых следует;

в 3-х, что этой наследницей всего имущества является не кто иная, как мадмуазель Смит, чья безграничная преданность делу недоосков и цыплят и т. д. заслуживает и т. д., и т. д.;

в 4-х, что приходский священник получит пятьсот франков для бедных;

в 5-х, что кухарка получит старые платья госпожи и пенсию в триста франков в год;

в 6-х, что лакей будет тоже вознагражден пенсией в триста франков, но без платьев;

наконец, в 7-х, что г. Симон де Торвиль получит из рук нотариуса и в присутствии остальных наследников запечатанный конверт, с которым он должен ознакомиться, лишь вернувшись к себе, предварительно дав торжественное обещание вышеупомянутому нотариусу в точности подчиниться указаниям, сообщаемым в этом конфиденциальном письме.

Такова была природная доброта Симона, что, несмотря на убийственную очевидность, он не хотел верить в посмертное коварство своей тетки... которое он, впрочем, не мог бы себе объяснить. И он надеялся найти в конверте бог знает какое сокровище, которое Батильда в нем спрятала из деликатности, отнимая его у жадности мадмуазель Смит. Увы! вернувшись к себе и закрыв двери на запор, он опять поневоле смирился. Из раскрытого конверта выпало только письмо, а из развернутого письма только фотография: удостоверение личности Огюстена Лаброса, ярмарочного борца... Он протирает глаза, ничего не понимая... Наконец, он стал читать:

Мой дорогой Симон,

Посмотрите хорошенько на этот портрет. Не узнаете ли вы в нем некую знакомую нам особу? Так вот человек, которого вы меня заставили принять за короля! Поздравляю! Воля ваша сле-

довать за ним в Патагонию. Меня такие истории больше не интересуют, так же как и те, кто их выдумывает. И вы не удивитесь, мой милый племянник, что я беру назад слово, которое, в минуту умиления, я дала вам по поводу известного вам наследства. Нет, решительно, из-за вас я перенесла слишком жестокое потрясение.

Ваша любящая тетка

Батильда.

Поль безмолвно плакала. Последняя надежда была потеряна! Но Симон, непобедимый Симон, думал обо всем... Последняя надежда? Вот еще! Так же не существует последней надежды, как не существует последних волн в морском приливе. За этой волной, которая так печально разбилась на берегу, надвигалась другая, огромная, набухшая всеми мыслимыми возможностями, настоящая волна счастья. Но прежде всего надо было предотвратить опасность, крайнюю ужасную опасность.

Немедленно, не задерживаясь даже, чтобы ободрить жену, которая, вся в настоящем, лишенная всякой опоры, предавалась отчаянию, он побежал на телеграф и отправил в Зорский монастырь следующую депешу:

Следите Нестором-Аяксом. Опасен.

Торвиль.

Г Л А В А XIII,

В КОТОРОЙ, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО, Г. ФЮМАД
ПОТРЕСЕТ ФАКЕЛОМ НАДЕЖДЫ.

Обладая драгоценным свойством жить более грядущим днем, чем настоящим, Симон де Торвиль созерцал постигавшие его несчастья равнодушным оком зрителя, коль скоро он усматривал впереди какую-нибудь серьезную причину для воодушевления. Поэтому, когда настал мрачный день ареста, он был тем менее к нему чувствителен, что, заранее исчерпав в воображении все печали, какие могли от этого последовать, он, так сказать, не находил уже печальным самое событие, которое рассматривал, как простую перипетию, скорее всего смешную, великой шекспировской драмы существования.

Сильней привязанная к реальностям этого мира, Поль провела очень скверную ночь. Мысль о разлуке с мебелью, даже если тотчас же купить другую и лучшую, особенно причиняла ей боль. Все вещи были отягощены столькими воспоминаниями, даже самые невероятные, даже двенадцать обманчивых каминов в пустой гостиной, даже цинковая лоханка, где продолжала плескаться сирена, испуская все слабеющие жалобы! Ее, наверно, заберут тоже, как предмет роскоши. Бедная Калипсо! Глядя добрыми глазами разочарованного пуделя, она, казалось, понимала, что происходит, и имела еще более печальный вид, чем всегда. Алексис провел ночь в молитвах, умоляя о чуде. Надо сказать, что этот ребенок обращался к небесным силам, только прося у них невозможного: руды в рудниках, денег в сундуках, счастья, что там! одним словом тысячу нелепостей.

— Боже мой,—говорил он,—устраивайся, как хо-

чешь,—так как я понятия не имею, как мне взяться за это,—но сделай, чтобы за ночь у папы явились две тысячи франков или же чтобы г. Лермюзю и все его служащие захворали.

Верный своему принципу никогда не вмешиваться в денежные вопросы, бог не отозвался на желания Алексиса, и на утро, ровно в десять часов, явились неумолимые чиновники.

На торжественный вопрос, заданный г. де Торвиллю, в состоянии ли он, наконец, уплатить взыскиваемую с него сумму, последовал ответ в форме заявления об отводе, правда вежливый, но непреклонный. Тогда, медленно, степенно, как люди, знающие, что у них есть время впереди, они приступили к работе, нетрудной, впрочем, которая заключалась в том, чтобы указывать пришедшим с ними чернорабочим, какие выносить предметы. Чернорабочие, хоть и привыкли ничему не удивляться, на этот раз познали изумление. Действительно, вещи, которые они взваливали себе на плечи, не были похожи ни на что знакомое. Они ломались вместо того, чтобы разбираться, как обыкновенные честные предметы обстановки; иногда даже они рассыпались в пыль. Каждый из них сулил неожиданность. Те, что казались тяжелыми, оказывались невесомыми, когда их подымали; напротив, те, о которых можно было думать, что они легкие, прирастали к полу, словно привинченные.

Пока эти господа орудовали в других комнатах, г. де Торвиль, потребовав, чтобы его покой уважали до последней минуты, работал. Если с вами случаются неприятности, это еще не причина, чтобы лениться! Если не приканчивать аккуратно каждый день текущие дела, они пойдут через край. Симон приканчивал текущие дела.

Он ничем не рисковал, так как получил разрешение сохранить стол, очевидную принадлежность его работы. В то время как его лихорадочное перо бегало по бумаге, выписывая цифры, делая пометки, набрасывая черновики писем, Поль, прижимая к себе Алексиса, пришла искать приюта у мужа. Трогательная сцена, которая размягчила бы сердце менее мужественного человека. Наконец, словно кабинет был поистине единственно возможным убежищем при этих печальных обстоятельствах, ковчегом спасения среди бури, сама Катарина, которую заботы низвели до шуточного веса в шестьдесят килограммов, Катарина, опавшая и отчаявшаяся, плача слезами, в которых жир мешался с соленой водой, Катарина, рухнув на пол, ожидала конца мира, в то время как грациозная морская свинка, невинная и глупая, с юным жаром грызла старую суконную туфлю.

В половине одиннадцатого пришла почта.

— Слава богу! — воскликнул Симон, — Письмо из Палестины! Все еще, может быть, спасено.

И он тотчас же распечатал его и прочел вслух, стоя, а Поль, Алексис и Катарина, тоже встав, как бы при исполнении национального гимна, слушали это, быть может спасительное, послание, без сомнения сильно запоздавшее.

Зорский монастырь.

5 августа 18....

Мое дорогое дитя,

я пишу вам на развалинах. Не усмотрите в этом выражении метафору, более или менее быющую на

эффект: надо его понимать буквально. Я сижу на разбитой капители, а моя чернильница стоит возле меня на обломанном стволе колонны, остаток которой превратился в пыль. От великолепного произведения, созданного гением вашего брата Паскаля, воздвигнутого трудами нескольких верных бедуинов, остался только фундамент, части стен, обожженные обломки, а мои бедные дочери жмутся вокруг меня, как испуганные голубки... Что могу я для них отныне?

Все шло отлично, и я каждый день благословляла небеса, так очевидно покровительствующие моему делу и моим работам. Паскаль, окончив свою миссию, уехал в Пальмиру, чтобы строить свою санаторию. Я получила, как раз в назначенный вами день, восемьдесят тысяч франков, которые я поручила вам занять. Проценты значительно превышали то, на что я надеялась; но, как основательно поясняло письмо, присланное вами потом, невозможно требовать от вольнодумцев, по отношению к религиозным делам, того бескорыстного рвения, которого, казалось бы, есть основание ожидать со стороны благочестивых душ... особенно, если последние с таким эгоизмом уклоняются от исполнения своего долга. И потом, какое мне было дело до процентов? Существовало предприятие с верблюжьим молоком, такое прекрасное, такое привлекательное!.. Пока вы посещали наших заимодавцев, я подготавливала все: спешно доставляла молочную, конюшни, мобилизовала армию верблюдов, словом, делала так, чтобы к прибытию доверенного человека, которого вы должны были мне прислать, все было готово.

Наконец, он явился и произвел на меня наи-

лучшее впечатление. Впрочем, король в изгнании всегда производит наилучшее впечатление. Следуя вашим советам, я никому не говорила о его высоком происхождении и уважала инкогнито, которое он желал соблюдать. Я одна знала, что Пьер Виоле, проводник караванов, на самом деле Нестор-Аякс Первый, Арауканский король, который скрывается в Малой Азии, ожидая благоприятного случая взойти на престол.

Сразу же по прибытии он объяснил мне, что в Иерусалиме он познакомился с очень умным, очень верным человеком, чей дом может служить складом для пакетов с маслом, которые он будет привозить из Зоры. Упрощение работы. Пока он, Нестор-Аякс, будет сновать взад и вперед между монастырем и Иерусалимом, отправка в Европу будет идти своим чередом. Прельщенная таким знанием дел у человека такого происхождения, я тотчас же доверила ему свои караваны, которые состояли уже не более и не менее, как из трех верблюдов (в то время как семь верблюдиц вели в образцовой молочной праздную жизнь, благоприятную для усиленного производства драгоценной жидкости, сбиваемой в масло моими добрыми сестрами).

Казалось, все шло отлично, как вдруг однажды ночью, отвратительной безлунной и очень темной ночью, около половины двенадцатого, вокруг монастыря раздались яростные, варварские крики, такие крики, каких я никогда не слыживала. Испуганные, вскочили мои святые девы, не успев одеться, а отец Сосипатр, схватив обеими руками огромную дубину, которая не покидает его ни днем, ни ночью, пошел посмотреть в окно,

в чем дело... П... но можете ли вы угадать, мое дорогое дитя, какое ужасное зрелище представилось его глазам? Узкое плоскогорье, на котором построен монастырь, было сплошь покрыто толпой ожесточенных туземцев, потрясавших ружьями, палками, факелами, даже лопатами и пиками. Одни верхом, другие пешком, весь этот народ метался, как в кошмаре, все время среди этих ужасных криков.

Отец Сосипатр встает на подоконник, чтобы быть на виду, и заявляет голосом, который покрыв бы шум извержения:

— Нас в монастыре сто вооруженных человек. Если вы сейчас не уберетесь, я велю стрелять.

На что эти яростные демоны отвечают, прыгая:

— Ты один и ты увидишь.

Тотчас же они бросают об здание свои зажженные факелы, в таком количестве и с такой ловкостью, что через несколько минут пламя занялось в семи различных местах. Внимая только своему мужеству, наш капеллан говорит нам:

— Не бойтесь ничего. Я устрою вам отступление.

Он настежь распахивает входные двери и бросается на осаждающую толпу с такой яростью и с таким непреодолимым порывом, что в мгновение ока, вращая страшную дубину, валит пять или шесть врагов. А я, вооруженная высоким медным крестом, который носят в процессиях, в свою очередь убиваю несколько неверных. Удар в висок, и все готово. Десница божия, даже пригвозжденная к кресту, страшна.

Но через несколько минут драка стала такой спутанной, что не было возможности в ней разо-

браться. Я думаю, что не преувеличу, если скажу, что этих негодяев было, по крайней мере, сотни две. Что могли против такого численного превосходства, среди глухой ночи, несколько слабых женщин и их духовный отец, доблестный, правда, но один? Через открытую дверь бродяги ринулись в монастырь, доканчивая лопатами разрушение, начатое огнем. Другие сочли своим долгом похитить несколько наших святых дев. С тех пор мы их больше не видели. В каких гаремах Трапезунда или Дамаска они рабынями теперь? или чемнибудь еще хуже? так как, разумеется, пропали самые молодые.

Вдруг, среди неистового беспорядка битвы, я слышу крик громче всех остальных: „Поп! Поп!“ Это наш добрый отец Сосипатр узнал, наконец, своего смертельного врага, еретика, опасного негодяя, которого он уже отбросил на другой склон горы. Тогда ничто не могло его остановить. Он сжимает свою палицу рукой, более мощной, чем когда-либо, и, неудержимый, как лавина, кидается вперед. Двадцать бедуинов старались окружить гнусного православного оплота из своих тел. Опьяненный священным гневом, отец Сосипатр стремительно бросается на препятствие, бьет по головам с таким же мастерством, как если бы он сшибал высокие маки в саду, и добирается до попа, который обращается в бегство. Или, по крайней мере, пытается обратиться. Скорее, чем то можно описать, он хватает еретика за пояс, поднимает от земли, задевает в рот парализующий удар кулаком, вместо затылки, и, взвалив тело на плечи, мчится к Мертвому Морю с быстротой серны. Добежав до обрыва, он с раз-

маху бросает попа на двенадцать метров от берега прямо в воду. Потом он подымается, спокойный, тем более спокойный, что ни одного дикаря больше не осталось. За исключением мертвых и раненых (которых предусмотрительный капеллан, чтобы очистить место, тоже бросил в Асфальтовое озеро), они все исчезли.

— Доказательство свыше,—заклочил он,—что все это были махинации попа, который, в ярости, что мы его отбросили к Нерихону, поклялся отомстить. Это он двинул на нас этих амаликитян, всегда готовых на скверное дело.

В порыве благодарности я поцеловала его. Он спас нам жизнь, но, увы! только жизнь. В каком состоянии находилось теперь мое заведение!.. Бедный монастырь! Бедная молочная! Грудь развалин, почти невозможных. Что касается верблюдиц, то их хотели было взнуздать. Они убежали в пустыню, где амаликитяне, вероятно, их поймали. Это они будут пить наше молоко, есть наше мясо. Прощай, теленок и корова, свинья и выводок цыплят!..

Однако среди всех этих несчастий я не забывала, что у меня осталась одна надежда: те, кого я называла, из-за их благородной поступи, моими тремя волхвами, я хочу сказать, мои три караванных верблюда, путеводная звезда которых носила имя Нестора-Аякса. Я долго их ждала. Наконец, отчаявшись получить о них известие, я сама совершила верхом на муле путешествие в Перусалим. Я отправилась на квартиру к другу короля, где, по моему предположению, последний останавливался, когда приезжал в город. Никого. Ни верблюдов, ни проводника. От соседей я узнала,

что эта квартира никем, кроме Пьера Виоле, не была занята и что вышеуказанный Пьер Виоле, продав свое масло, уехал неизвестно куда вместе с верблюдами. Я подала жалобу властям. Но на Востоке, жалобы... власти...

Я ни в чем вас не упрекаю, мое дорогое дитя; вы не знали, вы не могли знать. Но все-таки надо быть очень осторожным, когда рекомендуешь человека, особенно, если он носит корону. И мне пришло в голову, вполне ли вы уверены в том, что Нестор-Аякс настоящий король?

Впрочем, это не важно. Дело ведь только в трех верблюдах. Что более непоправимо, так это полная, окончательная гибель строений молочни. Если б вы видели все это устройство, такое светлое, такое веселое, такое практичное, моих чудесных верблюдиц, откормленных, с лоснящейся шерстью, с обильным выменем, и мои усовершенствованные маслобойные кадки! Если б я могла предвидеть, хотя бы как самую туманную гипотезу, такую катастрофу, я бы никогда так не поторопилась с уплатой долгов. Восемьдесят тысяч франков я отдала прямо так, глупейшим образом, чтобы укрепить за собой спокойное обладание вещью, которая больше не существует. Если бы не моя слепая вера в божественное провидение, было бы от чего сойти с ума.

Остается только одно: отложить до более благоприятных времен мой проект построить монастырь на берегу Мертвого моря (так как я не верю в проклятия, изрыгаемые г. Лефемюром, да очистит бог его грязную душу!) и удалиться с моим капелланом и с теми из моих дочерей, которые захотят за мной последовать в Иеру-

салим, в помещение, которое согласится нам уступить какой-нибудь другой орден. Там мы будем ждать, в единении и во мраке, благоприятного случая возобновить работы, для которых мы созданы. Обманутая в своих ожиданиях, но не отчаивающаяся, такой останется всегда
ваша искренне преданная

Сабина

(в монашестве мать Сент-Ансельм).

— Ничего не могу добавить к прочтенному,—сказал Симон, когда кончил среди молчания, которое продолжалось несколько мгновений.—Бывают дни, когда кажется, что кто-то сглазил мои дела.

Он ничего не сказал больше, не принадлежа к числу тех, кто испытывает необходимость отягощать себя словом или безмолвным размышлением по поводу неприятных вещей. Но так как, с другой стороны, он любил тщательный порядок, он поместил это письмо в довольно толстую папку с надписью:

МОЛОЧНАЯ МЕРТВОГО МОРЯ

и под этим названием, выведенным прекрасными готическими буквами, добавил в скобках:

(дело окончено).

Тем временем, час завтрака приближался, а операции господ судебных чинов, повидимому, не подвигались вперед. Катарина, всегда голодная и стонущая, спрашивала:

— Но как же мы будем есть сегодня? В кухне ничего нельзя жарить. Они уносят все.

На что Симон, раздраженный всеми этими заме-

чаниями, всей этой нелепой суетой, ответил, чтобы положить конец разговорам:

— Мы будем есть в ресторане; но, чорт возьми, подождите, чтобы они кончили! Мы же не можем оставить их здесь одних. В конце концов, мы ведь не знаем, что это за люди!

И он попытался снова взяться за работу. Но было сказано, что в сей день ему не дадут покоя. И как только он погрузил перо в чернильницу, раздался звонок. Поль вздрогнула. Катарина бросилась к двери и вернулась, выпучив глаза:

— Гости!—воскликнула она.—Гости!

— Но, чорт! надо было сказать, что меня нет дома. Неужели вы никогда не научитесь своим обязанностям!

Но Симону не пришлось долго удивляться отсутствию выправки у своей служанки, ибо сам посетитель, вероятно потому, что опустошенная квартира не представляла ни единого препятствия его вторжению, вошел в кабинет. О, изумление! Это был г. Фюмад.

Г. Фюмад, совершенно такой же, как семь месяцев тому назад, когда он уехал, чтобы высадиться на Сиртских берегах, г. Фюмад, со своими обмотками исследователя, колониальным шлемом и почтенным сюртуком, г. Фюмад, ни постаревший, ни помолодевший, г. Фюмад, печальный, торжественный и вежливый. Он низко склонился перед семейством Торвилей, как бы приветствуя в его лице высочайший в наше время пример мужества в несчастье...

— Откуда вы, г. Фюмад?—спросил тогда Симон со строгим видом, с видом судьи...

— С озера Фатимы,—ответил обвиняемый, дрожа как лист.

— Ага! отлично. Я доволен, что слышу это от вас.

А почему вы покинули это озеро, озеро, которое я вам дал под охрану?

— Потому что оно высохло.

— Еще того не легче! Высохло!.. Можно было бы лопнуть от смеха, если б это не было так грустно. Высохло!.. Самое богатое дичью озеро Алжира!.. Разве вы не могли это заметить сразу по прибытии туда и предупредить меня? У меня было бы время подумать. Мы бы отвели реки, использовали бы источники, просверлили бы артезианские колодцы, почему я знаю? Вместо того я внезапно попадаю в глупейшее, безвыходное положение, и на носу у меня процесс.

— Но, когда я прибыл, оно еще было прекрасным. Мои первые письма были лишь выражением истины. Я находился вместе с Си-Бу-Бекром в замечательной местности, в чудесной области для охоты. Разве моя вина, что все это начало вдруг исчезать, исчезать?.. Я все-таки не мог вас пугать, волновать. Я рассчитывал на счастливое стечение обстоятельств, на грозы, на хорошенькое движение шотта ¹⁾, который упорно не желал больше течь, на случай, наконец. Я не пожелал бы злейшему врагу испытать то, что я переживал, мои колебания, тревоги, кошмары. Я хорошо сознавал, что, оберегая вас дольше от разочарования, я обманываю ваше доверие... Но мог ли я предвидеть, что они приедут, эти проклятые охотники?

— ...?

— О, я намекаю не на господ Подписчиков. С воспитанными людьми всегда можно договориться. Но с полковником Жандебьеном, но с г. Сербеком, о,

¹⁾ Более или менее высохшее соленое озеро алжирских плоскогорий. (Прим. перев.)

нет! Это было невозможно. Они даже не захотели выслушать наших объяснений, не захотели принять попросту мусульманское гостеприимство, которое мы им чистосердечно предлагали.

Но теперь я знаю, кто такой г. Сербек, и до известной степени я доволен—за вас тоже, сударь, которому я многим обязан и которому искренне хотел бы послужить,—я доволен, что предприятие с озером Фатимой кончилось ничем.

— Вы, кажется, съ ума сошли, г. Фюмад...

— Ничуть. Я утверждаю и могу доказать, что раз г. Сербек принимал участие в деле с озером Фатимой (а он принимал в нем участие, раз ему не заплатили сполна), это было разорительное дело. О, не для него, конечно, а для других. Нам пришлось бы постоянно терпеть его вмешательство, скрытое, неожиданное! Он бы не знал покоя, пока бы не присвоил, одну за другой, все реальные выгоды предприятия. Во всех классах общества есть спруты. И вся ваша гениальность послужила бы только к наполнению этого ядовитого мешка.

По мере того, как г. Фюмад говорил, он казалось, выросал. Если костюм и был тот же и лицо приблизительно похоже на прежнее, то голос и взгляд изменились. Г. де Торвиль видел теперь перед собой другого человека, полного силы и красноречия, и слушал его с заметным удовольствием.

— Я вижу, что удивляю вас. Это потому, что вы все еще помните учителя музыки юного и очаровательного Алексиса. Но я много размышлял в одиночестве, и я далеко не тот, что был. Правда, я попрежнему люблю свой инструмент, он служит мне большим утешением. Но искусство искусством, а дела делами: таков отныне мой девиз.

Итак, возвращаясь к озеру Фатиме, надо прикончить это старое, мертвое дело. Тем более, что, даже во всей красе, эта местность лежит слишком уже в глубине страны. Чтобы ее снабдить необходимыми путями сообщения, потребовались бы сотни тысяч франков, миллионы, может быть. А ведь никогда не знаешь, к чему приведут такого рода работы. Нет, сударь, что вам нужно, так это заняться делами, в которых нет недостатка на богатой почве нашей лужезарной колонии, делами в роде тех, что я сам открыл.

— Какими, например?

— Мелом, сударь, мелом... Думали ли вы когда-нибудь о капитале, который можно извлечь из обработки мела?.. На одних только прогулках вокруг Бона, в сторону мыса Гарда, я нашел значительные залежи... И отличный мел, вы знаете, не слишком рыхлый и не слишком жесткий, мечта учителей математики и бильярдных игроков. Стоит только наклониться, чтобы его поднять. Расходы по добыванию будут ничтожны, по доставке минимальны, потому что Бон приморский город.

— Разработали вы этот вопрос подробнее?

— Я установил точную смету... Конечно, мы делаем мел высшего сорта. Во Франции имеется тридцать шесть тысяч коммунальных школ, что составляет, по меньшей мере, считая лицеи, коллежи и т. п., сорок тысяч учреждений народного просвещения. И можно сказать, что столько же бильярдных. Предположив, что каждая школа купит у нас только пять килограммов мела, а каждый бильярд два килограмма, мы получаем минимум в двести восемьдесят тысяч килограммов, с которых, допустим, нам очистится дохода хотя бы только по франку с килограмма. Мел Торвиль-Фюмад принесет нам...

— Вы говорите: Торвиль-Фюмад?..

— Конечно; самое меньшее, что я вам должен (вам, посвятившему меня в крупные дела), это поставить ваше имя перед своим в этом предприятии, с которого прошу вас принять половину дохода, то есть сто сорок тысяч франков, если Баррем ¹⁾ не врет.

Тогда г. Симон де Торвиль встал, восхищенный, и в то время как судебные чины, нескромно приоткрывшая дверь кабинета, показывали свои вопросительные рыла, он подошел к бывшему учителю музыки, обнял его дружески за плечи и сказал следующие простые слова:

— Мой дорогой г. Фюмад, по причинам, которые я вам объясню, мы сегодня завтракаем всей семьей в ресторане. Доставьте нам удовольствие своим участием. Я хочу более серьезно побеседовать с вами о том, что вы только что мне сказали; потому что—вы не ошиблись—это просто-напросто замечательное предприятие.

Отейль, 28 ноября 1913 г.

Перевела с французского

А. Оношкович-Яцына

¹⁾ Французский математик (1640—1703), автор книги «*Livre des comptes faits*». (Прим. перев.).

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

	СТР.
Глава I,—в которой речь идет об учителе музыки, о триумфальной арке и о нервном припадке	7
» II,—в которой ужасный г. Сербек выступает на сцену	13
» III,—в которой говорится о великом короле и о великом путешественнике	22
» IV,—в которой на горизонте появляется таинственное озеро	29
» V,—в которой посещают весьма несчастную сирену	35
» VI,—в которой мадам Вусюр показывает кончик своего хорошенького носика	44
» VII,—в которой разрабатывается величайший проект нашего времени	51
» VIII,—как прижимистый г. Сербек согласился охотиться на утконоса и нарвала	58
» IX,—в которой для г. Мариюса Фюмада загорается заря счастья	66
» X,—в которой выступает улыбающийся аббат Матиас Журдин	77

Глава XI,—в которой г. Мариус Фюмад и Нестор-Аякс дают знать о себе	СТР. 86
» XII,—в которой читателю представляют новую героиню	98
» XIII,—в которой г. Константен Ззомпс открывает тайну своей жизни	106
» XIV,—в которой рыбак, для приманки, закидывает слишком жирную наживку	112

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава I,—Персей и Андромеда	123
» II,—в которой г. Сербек потрясает склянкой опиума	133
» III.—Возвращение блудного сына	145
» IV,—в которой, наконец, видно все, что можно извлечь из вероломного молока	156
» V.—О празднестве на морском берегу и о том, что за ним последовало	163
» VI,—в которой три листка бумаги являются очень важными действующими лицами	175
» VII.—С Мертвого моря	185
» VIII.—У благочестивых душ и у вольнодумцев	195
» IX.—Как маленький камешек может остановить самый превосходный механизм	206
» X,—в которой завеса разрывается	212
» XI,—которая доказывает, что не все истины можно высказывать	219
» XII,—в которой, несмотря ни на что, г. Фюмад потрясает факелом надежды	232